

1

ISSN 0207—4001

НОВЫЙ ПЕРЕВОД РАЙНИСА

ПОСЛЕДНИЙ РАССКАЗ КАВЕРИНА

Г. ФЕДОРОВ — «ДЕЗЕРТИР»

90

Даугава



Илмар Блумберг.
Пленный жизнью.
Фото
Атиса Иевиньша

Даугава

ЯНВАРЬ (151)

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР.
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ. РИГА

В НОМЕРЕ:

Проза и поэзия

- 3** Ян Райнис
Огонь и ночь. Фрагменты из пьесы
- 22** Роальд Дობровенский
«Огонь и ночь» Яна Райниса
- 25** Альфред Хейдок
Звезды Маньчжурии. Рассказы. Окончание
- 53** Альфред Хейдок
Автобиографические заметки
- 57** Вениамин Каверин
Автопортрет. Последний рассказ

Публицистика

- 66** Татьяна Щербина
Большой смысл России
- 69** Георгий Федоров
Дезертир (Из записок оккупанта) .
- 82** Петр Вайль, Александр Генис
Гражданская война
Фрагмент из книги «60-е»
- Культурология

- 99** Вадим Руднев
Структурная поэтика и мотивный анализ

(см. на обороте)

1990



В НОМЕРЕ (окончание):

102 *Борис Гаспаров*

Апокалиптическая тема в пушкинском «Графе Нулине»

Обзоры, размышления, рецензии

108 *Сергей Мазур*

Третий тыняновский сборник

Методіа

114 *Лазарь Флейшман*

В дни «ежовщины»

Из книги «Борис Пастернак в тридцатые годы»

К нашим иллюстрациям

32 *Андрис Якубан*

Визуальные интерпретации Илмара Блумбергса

123 Почта «Даугавы»

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Главный редактор

Владлен ДОЗОРЦЕВ

Редакционная коллегия:

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ (отв. секретарь), Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДЫНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК (зав. отделом), Адольф ШАПИРО, Андрис ЯКУБАН (зам. главного редактора).

Редакция

Алла ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, Илан ПОЛОЦК,
Вадим РУДНЕВ

Ян РАЙНИС

ОГОНЬ И НОЧЬ

Фрагменты

Перевел Леонид ЧЕРЕВИЧНИК

ПРОЛОГ

Над рекою золотистый
Лунный мост опущен
Духам снов, бредущим
Вслед за мглой из дебрей темных.

Мост под легкими шагами
Чуть дрожит, сверкая,
Искрятся, мелькая,
Звезды в волнах, словно рыбы.

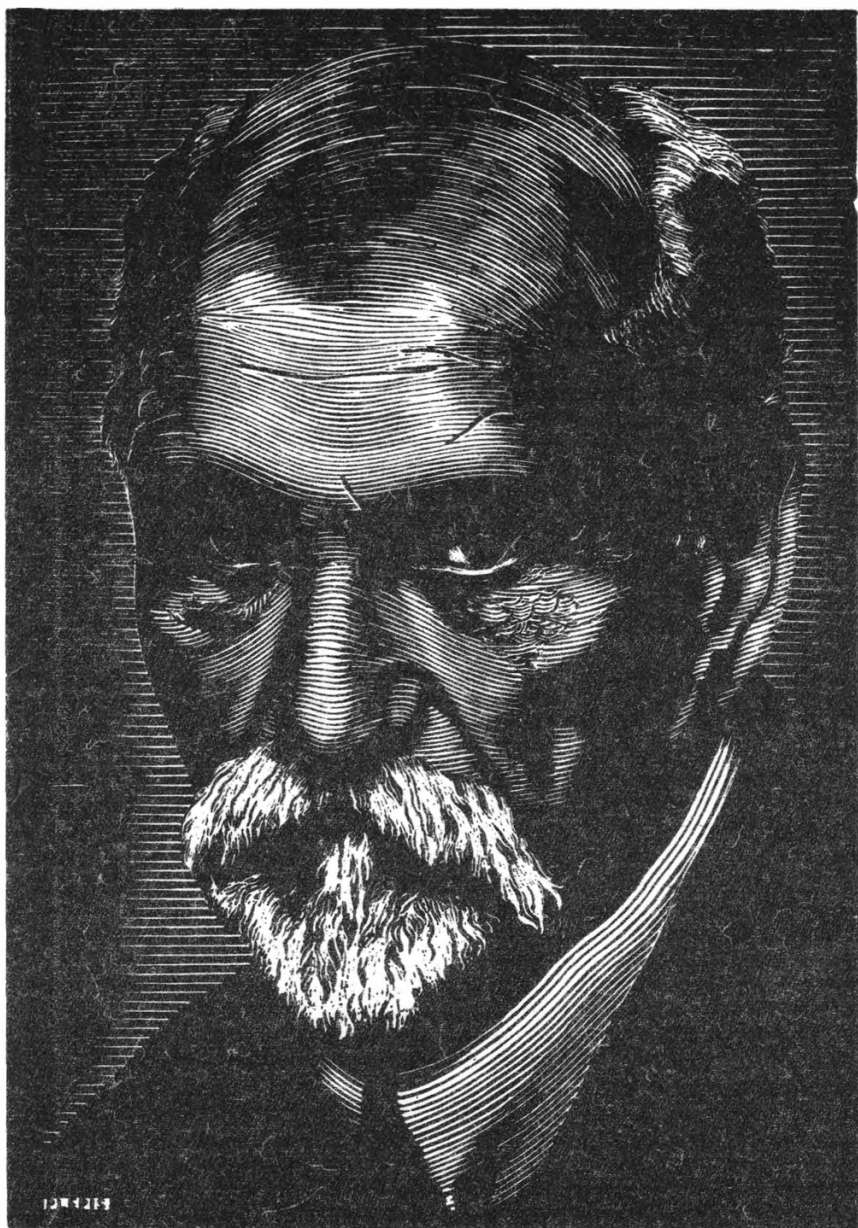
Слышится из тьмы кромешной
Голос отдаленный,
Песни, крики, стоны,
Звук молитв и шум сражений.

Тени белые проносят
Сумрачной долиной
В черных домовинах
Давних дней героев славных.

В битвах павшим — нет покоя,
В час ночных видений
Скорбные их тени
Вновь томит тоска земная.

Не достигнута победа —
Нет пути иного;
Ярость сечи снова
Из могил их поднимает.

В час ночной они приходят
Из долин печальных —
Эхо слов прощальных,
Дальний отзвук битвы вечной.



Ян Райнис. Портрет работы Я. Плевиса

Восстают для брани, тьмою
Гробовой объята,
Их мечи и латы
Под луною серебрятся.

Лютый бой огня и ночи
Бесконечно длился . . .
Свет во тьме родился,
Жизнь из чрева смерти вышла.

В вечном сне застынут тени,
Вверив битву эту
Детям тьмы и света,
Поколениям грядущим.

Над рекою золотистый
Лунный мост опущен
Духам снов, бредущим
Вслед за мглой из дебрей темных.

Медленно плывет туман. Как тепла майская ночь, как нежно сияет в воде луна! И вот опять они идут сюда — мои видения майской ночи!

Кажется, давно уже прошло то безмятежное время ожиданий и томления, этот май! Уже почти не узнаю милых образов тех давних дней. Вихрь словно шторм в море ворвался мне в душу, так обжигающе пылало солнце, и не было места в душе для иных картин.

Но вот, вместе с безмолвной луной, новым временем томительных ожиданий, вы снова идете сюда: шествие теней, словно похороны, гроб за гробом, бесконечной чередой. Но нет, это не похороны: снова, как в старинной песне, гробы открываются и выходят мужи, исполины-герои в латах, с мечами, выходят стройные женщины, за ратью выходит рать . . . Шествие уже близко, и в лунном свете я вижу, как туманные образы сгущаются, и я уже могу различить каждый их лик: проступают черты, пробуждается дух, чтобы продолжить жизнь и сразиться в неоконченной битве.

Это ты, Л а ч п л е с и с ! Узнаю тебя по высоко поднятой голове и сиянию, которое скрыто в лике твоём, как тлеющие угли скрыты под пеплом, — сын Лиелварда, великий вождь!

Рядом с ним его боевые товарищи, соратники, его друг — вождь племени Кокнепис, его левец — воин Пумпурс.

Там оба старых вождя — Айзкрауклис и Лиелвардс, там старый мудрый Буртниекс.

В сине-серебристом свете, какой бывает летом после дождя, идет Л а й м д о т а ; за нею подруги и служанки.

Обособленно, во главе горделивого воинства, в красновато-золотистом сиянии идет сама владычествующая С п и д о л а со сверкающими глазами.

Продаль с глумливой усмешкой идет вождь К а н г а р с , за ним — темное полчище. Наводя ужас на них, а также — на д е в у ш е к - в е д ь м , саму с т а р у ю в е д ь м у и ч е р т е й , идет Ч е р н ы й р ы ц а р ь . В стороне ото всех, кутаясь в широкое белое одеяние, медленно ступает С т а р е ц в р е м е н и — В и д е з у д с тремя своими Б е л ы м и д о ч е р ь м и — как будто отстраненный созерцатель, как будто чуждый всему.

Порыв и ярость на лицах бойцов. Доспехи звенят где-то рядом, а кажется — звуки доносятся из загробной дали. В стремительной спешке пронесется рати, но всё еще тут они, передо мной, я вижу движение, но они не продвигаются, идут, твердо ступая, а ноги не касаются земли, идут, словно скользят, как дым

под ветром. Какими застывшими взорами смотрят они, как рвутся вперед не-
удержимо! Только у Лачплесиса, как я вижу теперь, внутренним пламенем горят
глаза, и, кажется, за ним тянутся все; лишь Спидола идет — свободная, раско-
ванная, мечтательная.

Иди, Лачплесис, снова иди в бой! Мало было твоей победы, победитель!
Одержжи ее снова и до конца, сверши свое великое дело, очисти землю от
нечисти!

Слышишь ли ты далекие голоса? Это духи земли, их стоны так близко, что
мы их слышим; да и не стоны уже, а гул!

Кто всех более угнетен, тот всех ближе к победе!

Слышишь! Они в лоне Даугавы хранили ключ твоей свободы, они его начищали
до блеска горечью слез своих и солью крови своей. Опять сверкает твой ключ,
мы приподнимаем его, но слишком слабы еще наши руки, иди и возьми его,
замок света нам отвори!

Молчаливо ступает Лачплесис, лишь пылают очи его.

Раздается голос, как будто из-за пределов мира, это — Старец времени Ви-
девуд.

«Не препятствуй Лачплесису на его смертном пути! Борьба его — выше того,
что когда-либо видели люди, — он идет претворить себя. То, что вы ощутили
в мгновение невыразимого ужаса, это лишь первый проблеск зари — день ве-
ликой битвы еще впереди, смотрите, чтоб не застали вас спящими, когда час
придет и Лачплесис поведет вас в последний бой. Ибо ключ и замок — в
вас самих. Но и тогда, когда откроется замок — путь Лачплесиса не бу-
дет еще завершен — начнется прекрасная бескровная
битва во владениях Спидолы».

Когда прозвучали слова как бы из-за пределов мира и сотряслась моя плоть,
я увидел знак в огненных очах Лачплесиса из-под его тяжелых век, и показалось,
что Спидола мне улыбнулась. Я хотел вскочить, хотел сказать, крикнуть, что
мы пойдем, пойдем, — но клубы тумана смешались. Старец времени стоял,
подняв руки, раскинув белые одеяния, заколыхался свет, приблизились странные
голоса — тени двинулись дальше жить своей жизнью:

Из долин печальных —
Эхо слов прощальных,
Дальний отзвук битвы вечной.

Где я? Это снова моя любимая родина. Беспечальную песню улавливает
мой слух . . . Немцы уже идут сюда, но латыши еще свободны . . . И, возвышаясь,
свободный древний латышский замок стоит.

1907

Дальний отзвук битвы вечной...

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Замок Айзкрауклиса на берегу Даугавы. Большая комната в древнелатышском стиле, но в фантастическом убранстве. Стол и стулья, кровать, ткацкий станок, скамьи вдоль стен, печь. Вечереет.

Спи до ла, Айзкрауклис. Девять девушек чешут шерсть, прядут и ткут. Три в черном, три в желтом, три в красном.

Айзкрауклис

(наблюдая за работающими девушками)

Так рученьки проворно бегают —
Как мышки белые!

Чесальщицы

Чеши, чеши, чесалочка,
Пуши, пуши пушинки,
Пушинки распушатся,
Выйдет накидка —
Виллайне — милому
Молодцу укрыться.

Айзкрауклис

Для милого? Ну что ж, неплохо, дети!
А вы?

(К прядильщицам.)

И вы прядете для него?

Прядильщицы

Пряди, пряди, прялочка,
Наматывай, катушечка,
Тонкую-претонкую
Белую ниточку,
Будет милому
Белая рубашечка.

Айзкрауклис

Рубашка будет молодцу, накидка!

(К ткачихам)

А что же эти пальчики соткут?

Ткачихи

Тки, станочек, тки, тки,
Бегут ниточки тонкі,
Поплотнее, ниточки.
Ниточка к ниточке,
Будет для милого
Кафтан нарядный.

Айзкрауклис

Вот и всего в достатке, любо глянуть!
Ну а теперь довольно, спать пора.

(К Спидоле)

Зачем же, дочь, работать по ночам?

Спидола, прислонившись к окну, смотрит вдаль: в лунном свете ее одежды переливаются красным, черным, золотым.

И так уж начинают говорить,
Что слишком строгий у тебя отец —
Работать заставляет до рассвета.

Спидола

Не знают люди, как ты добр, отец.

Айзкрауклис

Но самое-то страшное не в том,
Еще и о другом судачат люди:
Мол, ночь для вас — та самая пора,
Мол, ты и все твои подружки — ведьмы...

Девушки вскрикивают и прерывают работу. Спидола быстро оборачивается.

Нет, нет! Ну что вы, детки, испугались...
Дочь милая, не я ведь так сказал,
Давно уже я слышū эту чушь,
Но на нее не преклонял я уха.

Спидола

Тогда не делай этого теперь.

Айзкрауклис

Ну не сердись, голубка, я ведь так...
Но, чтобы эти сплетни улеглись,
Бросай работать, мблодца ищи,
Давно сундук с твоим приданым полон.

Спидола

(снова у окна)

Что торопиться нам?..

Айзкрауклис

Всегда одно и то же
Ты говоришь; всех гонишь, вот увидишь:
Уйдут и не придут.

Спидола

И пусть идут!
Я племени змеиноного, отец!

А й з к р а у к л и с

Да, чистым должен быть наш род змеиный.
О боже, как глаза твои горят!
Голубушка, ну поступай, как знаешь,
Ты мне дороже дочери родной.

С п и д о л а

Ты бесконечно добр ко мне, отец,
Но дай мне жить, как я хочу; нельзя
Капканом лисьим бурю удержать
И разуму нельзя учить звезду.
Я краше всех на этом свете,
Я всех прекрасней.
Иди, отец, поспи, а у меня
Еще есть время —

(Мечтательно.)

Много, о как много!

Взгляну еще туда, где за холмами
Луна заходит, всходит, вновь заходит . . .

А й з к р а у к л и с

Да, да, пора — пусть кости отдохнут,
Иду, и да поможет Бог вам, детки.

(Уходит)

Девушки тут же весело, беспечно бросают работу.

П е р в а я

Бог нам помог, ушел он, хи-хи!

В т о р а я

Нам черти лучше боженьки помогут.

В с е

Хи-хи! Хи-хи!

Т р е т ь я

Черт нам поможет — мы ему.

В с е

Хи-хи! Хи-хи!

П е р в а я

Спидола,
Не хороша ли наша песенка? . .
Так почему же ты грустна?

О с т а л ь н ы е

А мы? Мы разве не умеем петь,
Как люди добрые поют?

С п и д о л а

Нет, славно, славно,
Но только дом весь ходит ходуном —
Еще сбегутся люди . . .

Д е в у ш к и

Да мы им! . . Мы на них нашлем дракона!

Остальные

Мы дыма им в глаза напустим!

Спи дола

Сестрицы, сестрицы,
Давайте снова наши песни петь!

Первая девушка

Давайте нашу пряжу прясть!

Вторая девушка

Давайте мы полотна наши ткать!

Третья

Давайте наших позовем!

Все

Старуха где? Старуха где?
Не за печкой ли спит?

Старая ведьма

(девушки вытаскивают ее из-за печи)

У! У!

Спи дола

(старухе)

Старая ведьма, скажи,
Нас колдовству научи, —
Всему, чего мы не знаем, —
Начинаем!

Старуха

Хе-хе, всему свой черед!
Никуда оно от вас не уйдет.
Хе-хе, всему свой черед.

(К девушкам.)

А что там старику вы говорили
О виллайне, рубашечках каких-то?
Чтоб запылал огонь в моей печи,
Нужны слова иные.

(Суетится у своей колдовской печи, разводя огонь. тащит на середину комнаты колоду, расстилает на ней платок, рядом кладет топор.)

Чесальщицы

Чеши, чеши, чесалочка,
Болью жгучей
Истерзай, измучай
Души людские:
Души развеются,
Словно пушинки.

Прядильщицы

Пряди, пряди, прялочка,
Красной ниточкой
Струйка крови

По груди стекает;
Будет людям добрым
Терновая рубашечка.

Т к а ч и х и

Тки, станочек, тки, тки,
Бегут ниточки тонкй,
Вы сплетайтесь, ниточки,
С бедами, несчастьями,
Будет добрым людям
Саван белый.

В с е

Трудимся, трудимся,
Ткем, прядем,
Людям добрым
Горе несем.
В сети нитей
Все попадут,
Не ищите —
Все пропадут.

Старуха колдует над печью, из которой выходят огненные нити. Девушки, став на скамейки, развешивают эти нити под потолком вдоль и поперек комнаты. На нитях вспыхивают светлячки.

С т а р у х а

Ярче, пламень,
Вспыхни над нами!
Огненной пряжи круги.
Кто подойдет — обожги!
Искры летят!
Искры летят!
Ш-р-р! ш-р-р!

Д е в у ш к и

Спидола, Спидола, зови, пусть придут —
Кто весел и шутив,
Кто не конфузлив, не пуглив . . .
Черти к ведьмам пусть придут,
Пусть придут!

С т а р у х а

Вам бы, срамницы, только беситься!
А Ликцепуру служить?
А колдовать-ворожить —
Адский огонь высекать? . . .
Только б парней завлекать!

Д е в у ш к и

Наведи ты там
Женихов к нам, к нам!

С п и д о л а

Пусть станут глаза наши зрячими.

Старуха

(втирая колдовское зелье девушкам в глаза)

Адовый зев, смерди,
Божий свет, уходи!
Приди иной
Из тьмы ночной!

(Касается ушей девушек.)

Смерди, адовый дух,
Пусть проникает слух
Сквозь стены, заборы,
Заграды, запоры!

Девушки

О, о, о! Смотрите, смотрите!
Они идут!

Спидола последней втирает зелье и видит приближающегося Черного рыцаря, которого на сцене еще нет.

Спидола

Что вижу я? Сам Черный рыцарь! Зачем
Идет он, слепец этот вечно угрюмый?
Нет, он не для наших забав.
И разве в аду так скуден выбор,
Что этот — самый лучший из всех?!

(Видит невидимого еще Лаччлесиса)

О-о-о!

Ну и мощь! Огромный, сильный,
До краев жизнью полон,
Юный дуб зеленеющий. О, какая
Радость будет обломать ему ветки,
Разорвать его, как цветок, на волокна!
Он помощнее тебя, мой Кокнесис.
Дай же мне вспыхнуть в нем, отец мой огонь!

Старуха

Руби, руби, топор!
Ворота — на запор!
Ползет по мхам седым —
Пуфф, пуфф, пуфф! —
Клубится черный дым.

Из-под платка на колоде доносится грохот и поднимается дым.

Девушки

Дай и нам топор, старуха!

Старуха

Кыш, клюв цыплячий, волос шалый!
В черед, друг за дружкой!

Чесальщицы

(одна за другой бьют обухом топора по колоде)

Бью сегодня первой, завтра и не вспомню.

Выскакивают три Черта в черном: в бархатных кафтанах, треуголках, в длинных чулках, начинают плясать с чесальщицами.

Прядильщицы

(все три, одна за другой)

Бью сегодня первой, завтра и не вспомню.

Выскакивают три черта в желтом и пляшут с прядильщицами.

Ткачихи

(одна за другой)

Бью сегодня первой, завтра и не вспомню.

Выскакивают три черта в красном и пляшут с ткачихами.

Спидола

Бью сегодня первой, завтра и не вспомню.

Медленно, тяжело ступая, опираясь на поводья, выходит слепой Черный рыцарь. Пляска резко обрывается. Девушки и черти испуганно отходят в сторону.

Черный рыцарь

(Спидоле)

А я пришел с заданием к тебе.

Спидола

Сама себе задание я, —
Иного нет.

Черный

Должна добыть ты силу для царства тьмы.

Спидола

Ничьей я воле неподвластна,
Сама собой повелеваю,
Как я хочу.

Черный

Вознес бы я тебя
Превыше звезд, туда, где в черной бездне
Безбрежная, предвечная владычит
Неодолимая ночь.

Спидола

Твое там царство, мне-то — что в нем делать?

Черный

Державна мощь твоя, сродни
Той непостижной тьме.
Ты силы тьмы могла бы приумножить,
А так — ты только взблеск звезды мгновенный.

Спидола

Но я — свободна, а ты — слуга
И понуждаешь служить других.
Ты мерзок мне!

Черный

Предначертано — сбудется.
Над судьбой ты своей невластна.
И должна ее веление исполнить.

С п и д о л а

А что ж она велит? Что мне исполнить?

Ч е р н ы й

Ты извести должна того,
Кто столько мощи ощутит в себе,
Что потрясать начнет основы тьмы,
Зажжет в ночи огонь противоборства,
Восстанет против властелинов мрака, —
Кто тех рабов, которым суждено
Спать вечным сном, пробудит ото сна
И скажет им, что крови их поток
Способен, нарастая, сокрушить
Твердыни тьмы. . . Должна ты уничтожить
Его теперь, пока еще не поздно, —
Вот что велит судьба.

С п и д о л а

Но если так он мощен,
Что может истребить все войско тьмы,
То как же я могу с ним сладить?

Ч е р н ы й

Могущество твое иного рода:
Ты краше всех на этом свете,
Ты всех прекрасней — то, что грубой силе
Не ухватить своей медвежьей лапой,
Не покорить, чтоб выгоду извлечь;
То — что лишь в счастье можно обрести,
От низменных страданий отрешась.
То — что приходит лишь с ночным покоем.
Ты этим счастьем усыпи его
Как только он из тьмы своей сюда
Поднимется, при первой же победе.
Утихомирь его, угомони,
Заставь его отречься от борьбы,
Дай насладиться,
Дай испить блаженства.
Блаженны упоенные тобой!

С п и д о л а

Вот как ты понимаешь власть мою!

Ч е р н ы й

Да, одари его земным блаженством,
Раскрой пред ним все прелести земные,
Чтоб вволю насладился,
Жизнь вкусил бы — и не собою
Стал бы жертвовать — другими.
Когда он продаст, предаст все живое —
Тогда и нам он станет угоден
И всех поведет к ленивой ночи,
Раскинувшейся надо всем, ко всему равнодушной,
Недвижимой.

С п и д о л а

А я — в движенье,
Мне все подвластны: что — вѣ без меня? . . Ступай!

Он идет.
Я краше всех на этом свете,
Я всех прекрасней в том и в этом мире.

Черный

Все ж ночь эту горсточку света поглотит!

Исчезает. Вслед за ним исчезают черти; уходит и старуха.

Первая девушка

Бр-р-р, точно лед,
Его и пламя ада не согрело.

Вторая девушка

Такой наводит ужас — стынет кровь!

Спидола

Пойте, сестрицы, меня нарядите, —
Гостя милого встретим.

Прядильщицы

Пряди, пряди, прялочка,
Красной ниточкой
Струйка крови . . .
Ниточка к ниточке,
Будет милому
Белая рубашечка.

Песенка, начавшаяся на колдовской лад, при появлении Айзкрауклиса с гостями замедляется, но сохраняет все же колдовской налет. Все прилежно сидят и работают.

Входит старый Айзкрауклис, старый Лиелвардс, Лачплесис, Кокнесис и сопровождающие их.

Айзкрауклис

Вот, дорогие гости, Спидола —
С подружками здесь трудится усердно,
Мы их как раз застали за работой.
А это, доченька, — твоя родня
По матери, от третьего колена,
Сосед наш Лиелвардс с сыном; да, тем самым,
Который в схватке разорвал медведя;
Да, да, теперь так и зовут его:
Медведя разорвавший — Лачплесис.

Кокнесис

Поклон тебе мой, здравствуй, Спидола!

Спидола

Здравствуй, Кокнесис!

Лиелвардс

Мы постучались к вам глубокой ночью,
Решили: до того, как в путь пуститься, —
К соседке нашей милой заглянуть.
Мой сын вот хочет в замке Буртниека
Познать науку и искусство брани.
Дано ему героем стать, — такого
Средь латвов не было еще. Мой сын

Так мощен, что нет равного ему,
Мой сын . . .

С п и д о л а

. . . достоин и достойной встречи.
Мы словно ждали дорогих гостей
И комнату убрали светлячками.

(К Лачплесису, который стоит как окаменелый и смотрит на нее)

Привет, герой грядущий! Будем мы
Стараться угодить тебе, чтоб ты
Не разорвал нас, как того медведя.
Попотчует же, девушки, гостей,
Небось в пути устали.

Девушки, убрав прялки и рукоделия, приносят серебряные и золотые кубки.

Л и е л в а р д с

Ну, мне домой пора, Айзкрауклис,
А сын пусть остается, погостит,
Потом же — с божьей помощью идет
В свой дальний путь.

(К Лачплесису.)

Живи по чести, сын,
И помни наставления отцовы.
Твое предназначенье, — как сказал
В лесу тебя нашедший вайделот, —
Со всяческим бороться в мире злом,
На западе ли, на востоке — всюду.
У нас от века не было господ,
В дни мира — судей, в дни войны — вождей
Мы выбирали. Все у нас равны
И в этом — сила наша. Латвию
Оберегай, восслав в краях иных.
Обряды предков чти и соблюдай,
Мы — пахари, и — в этом наша сила.
Прощай, мой сын, иди.

Л а ч п л е с и с

(словно очнувшись от сна)

Иду, отец.

(Ударяет длинным мечом о пол.)

А й з к р а у к л и с

Осушим кубки напоследок, Лиелвардс!

Л и е л в а р д с

Хозяину и дочери его —
Здоровья, и да будет с вами Бог!

А з к р а у к л и с

Мы, старики, пойдем, вы оставайтесь.

(Уходит с Лиелвардсом и сопровождающими.)

С п и д о л а

Что приумолк, молодой герой?
А ну, сестрицы, развлеките гостя!
Иль прост наш дом — не королевский замок?

Девушки приносят кушанья, фрукты, цветы, помогают стелить постель, покрывают кресло золотым покрывалом и усаживают Лачплесиса.

Л а ч п л е с и с

О, здесь чудесно! Здесь прекрасно!

С п и д о л а

Ты утомился, я тебе сама
Простышкой белоснежной застелю
Постель, покрою звездным покрывалом.
Опять молчишь? Иль не по сердцу — мы?

Л а ч п л е с и с

Ты так красива!

С п и д о л а

Ты ближе, ближе подойди, взглядишь!

Л а ч п л е с и с

Глаза слепит!

С п и д о л а

(берет кубок с вином и, стряхнув в него с ресниц колдовское зелье, протягивает Лачплесису)
Вот — первый раз глотнешь, и станешь зрячим,
Увидишь ты, как все вокруг красиво,
Второй — увидишь, как прекрасны дали,
А третий — то, что можешь лишь во сне
Увидеть, что прекраснее всего
Прекраснейшего в том и в этом мире.

Л а ч п л е с и с

Я послан биться с полчищами тьмы,
Так Лаймой суждено.

С п и д о л а

И ты — не сам идешь, ты тоже — послан?!
Да ладно, пей уж, пей, и ты увидишь
То дивное, что Лаймой дано,
Что краше, что прекраснее всего
Прекраснейшего в том и этом мире.

Л а ч п л е с и с

Как хочется увидеть это!

(Делает третий глоток.)

Какая радость разлилась во мне,
Какое несказанное блаженство!

(Садится на ложе, откидывается на подушки.)

К тебе все устремления мои

Влекут неторопливо,

Легко и нежно —

Вся скованность прошла, я вижу!

Белый тихий свет взор мой ласкает.

Покой — дуновение тающее —

Сладость блаженства,

Ты — счастье дающая — Лаймдота!

(Постепенно засыпает.)

В комнате темнеет, становится совсем темно. Во тьме брезжит пятно тусклого света, в котором, наконец, появляется Л а й м д о т а, в бело-голубой одежде, в серебристом сиянии.

С п и д о л а

О-о! Ты, а не я!
Ты всех прекрасней, не я! Не я?
Не обо мне ты, Лачплесис, грезил?
О ней! О, — не проснуться тебе! . .

(Бросается к нему, но останавливается, слушая то, что говорит Лаймдота.)

Л а й м д о т а

Приди, приди!
Я жду тебя так давно —
Днем ли, ночью — скорбь в груди,
На душе темным-темно
Так давно!
Бредет через чащи,
По тропам безвестным,
По высям небесным,
По безднам слепящим
К тебе мой дух одинокий
Давным-давно!
Во сне, наяву, повсюду
Искать тебя, ждать я буду —
Приди! Приди!

Видение приближается к Лачплесису и касается покрывала.

С п и д о л а

Прочь! Сгинь с глаз!
Скройся, видение, он мой!

Видение исчезает. Лачплесис просыпается и, вскочив на ноги, тянется вслед видению.

Л а ч п л е с и с

Куда же исчезла ты? Счастье мое!
Любимая, желанная, дивная!
Ты синее небо, ты радость души,
Ты день мой, свет мой белый!
Мать-Лайма, ты мне ее дала!
Звезда моя, я иду за тобою!

С п и д о л а

Проснись, проснись, молодой герой!
Еще прекрасней будет сна
То, что увидишь!

Комната украшена, как волшебный замок, озарена красным светом.

Л а ч п л е с и с

Где это я? Какое волшебство!
И дух мой волны огненного моря
Вздымают, треплют — где ты,
Блаженный мой покой?

Девушки-ведьмы начинают вокруг Лачплесиса обольстительный колдовской танец.

Л а ч п л е с и с

Как пол подо мной качается!
Всё вьется, вихрится, взвивается
В гармонии неизъяснимой.
Диво! Диво!
Пламя — неугасимо,
Небо необозримо —

Бездна какая! . .
Из огня возникая,
Мир трепещет, сверкая.
Сжался! Сжался!

С п и д о л а

Ну вот, прозрел ты — видишь теперь
Поток этот великолепия, льющийся
На всё, что есть и в том, и в этом мире?
И все это мне дано!
Мной держатся луна и сонмы звезд,
Я ведаю ключами счастья —
Будь моим! Будь моим!

Тревожное пламя гаснет; все снова в обычном свете; девушки исчезают.

Л а ч п л е с и с

Я — Перконов и Перконом я послан.

С п и д о л а

А я — есть я, сама иду я,
Куда иду — сама не знаю, — куда
Хочу —
Сама своим загораюсь светом,
Я — Спидола
Я — дочь огня,
Я — недр земных нетленное пламя,
Я — огненный дух всего живого.
В мир прекрасного! За мной!

Л а ч п л е с и с

Я послан биться.

С п и д о л а

Я знаю все, я помочь бы тебе могла:
Ветрам прикажу — и будут дуть,
Брошу града горсть, как зерно, а растает мгла —
Телами мертвыми будет усеян путь.
Я тучи призову снеговые,
Силы неба огневые
На помощь тебе.

Л а ч п л е с и с

Не нужны мне помощники,
Я управлюсь сам, моя сила —
Медвежья.

С п и д о л а

Ты сам — медведь,
И уши у тебя — медвежьи.

Л а ч п л е с и с

А ты ушей-то моих не тронь!
Да, я медвежьего рода —
Так было всегда среди наших героев,
Вся сила моя — в ушах,
И силы такой не собрать

Всем духам твоим бесовским,
Дышащим пламенем, сыплющим снег;
Я послан землю очистить от нечисти этой.

С п и д о л а

Сам ты грязен и груб, как мешок, —
Медвежье отродье,
Ну что ж, буду знать — твоя сила в ушах,
А я вот — гибкая дочь змеи
С зубами змеиными,
Я краше всех на этом свете, —
Всего, что на земле и под землей,
Здесь всё моей воле подвластно.

Л а ч п л е с и с

Мой сон прекрасней тебя —
Лик Лаймдоты милой —
С ней все мечты, все мои устремленья,
огонь —
Не с тобою.

С п и д о л а

(снова озаряясь огненным светом)

Ах, так! Ну что ж — сквитаться
С тобой сумею я,
Когда в мирах скитаться
Пойдет душа твоя —
Меня искать, себя терзать;
Я вечно буду ускользать.

Освещенная гаснущими лучами, отсвет которых задерживается на ней, Спидола уходит от Лачплесиса к окнам. Девушки следуют за ней. Свет пламени постепенно меркнет. Темнеет.

С п и д о л а

(у окна, освещенная мерцающим светом, подобно видению Лаймдоты)

Дойдешь до последней черты,
Познаешь тщету земного —
Лишь взор поднимешь и снова
Меня возжаждешь ты!
Пламенна моя высь!
Ниц пади! Покорись!

(Сбрасывает черное покрывало и стоит в ослепительном белом наряде)

Л а ч п л е с и с

О!

(Закрывает руками глаза)

С п и д о л а

Спидола — взблеск, Спидола — блик —
Летит — как манит лунный лик!
Гей, ведьмы, э-ге-гей!

Лачплесис, как будто отмахиваясь, одной рукой заслонив глаза, рубит мечом, обрывает сверкающие колдовские нити, но одна из них остается на мече. Светлячки, словно огненные искры, сыплются на Лачплесиса с потолка, он падает. Спидола исчезает. Луч золотистого цвета гаснет.

Д е в у ш к и - в е д ь м ы

(вскрикивают все сризу)

Ой! Ой! Ой!

Снаружи через окна проникает красный свет.

Д е в у ш к и - в е д ь м ы

Гей, ведьмы, э-ге-гей!
Ввысь! Лечу! Ввысь! Лечу!

П е р в а я

Месяц проплыл.
Волк завыл.

В с е

Чу! Чу!

В т о р а я

(к Лачплесису)
Эй, медвежья шерсть,
Что забыл ты здесь!

Т р е т ь я

Удавить его, разорвать!

Ч е т в е р т а я

Зря будет Лаймдота звать!

П я т а я

Сражаться станешь!

Ш е с т а я

В пучину канешь!

С е д ь м а я

Слабость одолеет силу.

В о с ь м а я

Занесет песком могилу!

Д е в я т а я

Месяц проплыл,
Волк завыл.

В с е

Ведьмы, э-гей! Ведьмы, э-гей!
Ввысь!

Всё гаснет, темнеет. Лачплесис остается лежать на полу.

З а н а в е с

«ОГОНЬ И НОЧЬ» ЯНА РАЙНИСА

Несколько слов об остальных четырех действиях. Во втором сцена представляет собой потонувший, заколдованный замок Буртниека на дне озера. Спидола и Кангарс говорят о приближающихся Лачплесисе и Лаймдоте. Кангарс, предавший и продавший свой народ, думает, что Спидола, так же как и он, служит Ликцепуру — сатане. Но Спидола внушительно доказывает ему, какова разница между ними: семь чертей, явившихся по ее приказу, «раздевают» низкую душу Кангарса, доводя его до последнего унижения.

На сцене появляются Лаймдота и Лачплесис. В продолжение всех дальнейших событий горящие очи Спидолы из озерной глубины наблюдают за ними. Лаймдота и боится за возлюбленного, и не может удержать его: герой идет на свой подвиг, в борении с могущественными силами тьмы он должен завладеть ключом от Замка Света: это залог свободы латышей. Есть тут сцена, когда перед Лачплесисом вдруг выкатывается открытый гроб с покойником — и в сбросившем саван мертвец Лачплесис вдруг узнает самого себя . . . Людям моего поколения нельзя не вспомнить «Земляничную поляну» И. Бергмана (до которой во времена написания «Огня и ночи» оставалось более полувека!). Герой разгоняет целый сонм чертей, побеждает огнедышащего дракона, который оказывается . . . отцом Спидолы. Замок Света воздвигся из бездны. Но победитель, очнувшись от глубокого сна, узнает, что его невеста Лаймдота исчезла.

В третьем действии Спидола — владычица в только что основанной, строящейся Риге. Толпы людей провожают корабли, с которыми вождь Каупо и знатные юноши из местных племен отправляются в Рим. Спидола знает: едущие за счастьем привезут рабство для себя и своих близких. С теми же кораблями увозят пленных, среди которых — закованная в цепи Лаймдота.

Кангарс приводит к Спидоле вождей, выражающих «почтение и покорность Риму». А где-то в глубине звучит все время полувздых, полустон невидимого народа: «Ох, милые наши . . .»

Внезапно появляется Лачплесис, навлекая ужас на предателей. Здесь же начинается — верней, продолжается — единоборство, которое важнее всех других битв: диалог Лачплесиса и Спидолы, похожий то на спор непримиримых врагов, то на диспут мудрецов, заглянувших за пределы земного бытия. «Я — красота всевластная, — говорит Спидола. — Что сила твоя одна, без меня?» «Ты — красота всевластная, — соглашается Лачплесис. — Ты красота . . . и — такое уродство вокруг. И ты покрываешь его позолотой!»

Спидола утверждает, что по-своему любит Лаймдоту:

Я люблю ее как часть себя,
Но она успокаивается, достигнув
цели.

И еще яснее:
Она — часть меня, а тебе нужно
всё.

Четвертое действие: берег моря на Острове Смерти. Здесь, среди множества обращенных в камень людей, заколдованная Лаймдота. Здесь ненавистник Лачплесиса, Кангарс, ставший после пережитого унижения лютым недругом и Спидолы. Ей, Спидоле, он напоминает, что Лачплесис убил ее отца-дракона, сгубил ее мать-колдунью, победил одного брата, трехглавого дракона, и вот-вот победит второго — девятиглавого. «Пусть он пропадет, ведь ты ж его ненавидишь?» Спидола отвечает: «Но ненавистью не такой, как твоя».

Источник забвения, яблоня с золотыми плодами, внутри которых — пепел смерти, — все это Спидола. Кангарс, подслушавший тайну Лачплесиса (героя может победить только тот,

кто отрубит его медвежьим уши), уверен, что тот в его руках. Потому-то он неожиданно приходит на выручку Лачплесису: он не прочь чужими руками повоевать с гордой врагинею. Кангарс подговаривает очнувшегося героя срубить верхушку яблони-Спидолы... но сама она молит отсечь боковую ветвь; так и поступает Лачплесис. Возрожденная и преображенная Спидола отрекается от вечности, от небесной власти, обещая быть его земным союзником и другом. Латышский богатырь своим ударом словно бы освободил ее от крайностей бесовского, драконьего, змеяного, струившегося в ее крови. (Остров волшебницы Цирцеи, конечно же, проступает сквозь эти страницы драмы издали, как бы из-под двух-трех слоев тончайшей бумаги, закрывавшей гравюры в старых книгах.) Улисс-Лачплесис стягивает с себя наваждение покоя, смертельного для него. Из камня высвобождается расколдованная Лаймдота. Народный певец Пумпурс, сложивший эпос о Лачплесисе, а с ним весь «заклятый народ» сбрасывают каменную тяжесть, сковывавшую их так долго.

Пятое действие: замок Лиелварде на берегу Даугавы. Лачплесис и Лаймдота — король и королева. Враги повержены, все победы достигнуты. Страшнейшее из наказаний, заложенное в природе Лаймдоты и грозящее Лачплесису: самоуспокоенность, довольство собою, кажется, подстерегли наших героев. Но хрупкое благоденствие слывается быстро и непоправимо. Черный рыцарь, явившийся вместе с гостями и подданными, вызывает Лачплесиса на борьбу; предатель Кангарс выдает посланцу тьмы тайну героя.

Есть в драме тонкости, бросающиеся в глаза не сразу. Черного рыцаря, оказывается, призвала в замок Спидола. Она назвала его имя — а этого достаточно, чтобы посланец Ликцепура явился. Кангарс тут же уличает Спидолу в этой вине, и как она ни отрицается, но и сама сомневается — а может быть, она хотела того — не поверностью души, а ее непроглядной глубиной? Черный рыцарь вызван ее «подсознанием», — сказали бы мы, теперешние. Замечательна сцена, когда разоблаченного Кангарса настигает удар богатыря Кокнесиса, и, умирая, предатель произносит:

Я, Спидола, вечен, мое волшебство
Бессмертно и вечно! Возьмите его!

С этими словами он плюет на пол, а кто-то из вождей мгновенно слизывает плевки Кангарса, завладевая и его колдовской силой, и отравой предательства и низости, чтобы передавать их по цепочке дальше, из рода в род.

Поединок с Черным рыцарем оканчивается не гибелью героя — враги падают с обрыва в бездну и там, в невидимых пропастях, продолжают борьбу; вослед им кидается с кручи вниз и Спидола... Тут не просто поединок: нескончаемая, вселенская борьба огня и ночи.

И снова вспоминается начало драмы: «Мало было твоей победы, победитель! Одержжи ее снова и до конца...» Старец Времени вещает: «Не прелятствуй Лачплесису на его смертном пути! Борьба его — выше того, что когда-либо видели люди... День великой битвы еще впереди: смотрите, чтоб не застали вас спящими, когда час придет и Лачплесис поведет вас в последний бой. Ибо ключ и Замок — в вас самих. Но и тогда, когда откроется Замок, путь Лачплесиса еще не будет завершен; начнется прекрасная бескровная битва во владениях Спидолы». О том же говорит и сама Спидола в финале драмы:

Придут новые герои,
Но не замкнутся в пределах
своей отчизны,
Страна на страну не восстановит,
Все вместе — сразятся с тьмою
И Черного слепца одолеют!

Символика драмы, на первый взгляд, ясна и прозрачна: Лаймдота — это Латвия, ее земля; Лачплесис — латышский народ и заключенные в нем земные силы; Кангарс — тень, отбрасываемая богатырями и героями, та червоточина, через которую проникают в народ силы зла и разрушения, порождения мрака.

Спидола... Она единственная неподвластна никому, не исполняет ничьих велений. Ее могущество беспредельно, красота ослепительна. Ее родовая принадлежность к силам тьмы и стремление к свету, ее дикая гордость, мятежность и нежная преданность, ее коварство, ревность, жестокость и — полная самоотверженность, презрение к гибели; ее отношения с вечностью — и добровольное самоограничение, вочеловечивание, искивание бесконечного в конечное, в узкое здешнее пространство, без которого вечность

оказывается не мила и не нужна... Все это и есть содержание драмы, данное поверх сюжета и рассчитанное на самые разные уровни восприятия, — вплоть до того, что, как проговаривался Райнис, он не надеялся быть понятым до конца современниками и согласен был пропустить несколько поколений, подождать тех, кто поймет, кто расслышит.

Внешним толчком к сочинению пьесы был конкурс на лучшее оперное либретто, объявленный Музыкальной комиссией Рижского Латышского общества в 1903 году. Райнис только что вернулся из ссылки. Там, в Вятской губернии, он много раз обращался мысленно к латышской истории, к героям легенд и сказаний.

Лачплесис — герой одноименного «рукотворного» латышского эпоса. Поэт Андрей Пумпурс (1841—1902) использовал латышский фольклор, мифологические мотивы, то, что известно было о языческих верованиях латышей, литовцев, древних пруссов, исторические хроники. Автор «Лачплесиса» обладал той мерой мудрости и простодушия, фантазии и здравомыслия, какая была свойственна и его первым читателям. К моменту, когда Райнис взялся за свое «либретто», «Лачплесис» Пумпура успел укорениться в народе, и драматург получил уникальную возможность вести разговор как бы поверх событий, ведь сами по себе они были известны зрителям.

Самый глубокий след первоначального замысла — ритмика драмы, гибкая и разнообразная, зачастую «неправильная»: стихотворный размер меняется на ходу, строки точно пульсируют, сжимаясь и растягиваясь непредсказуемо, — музыке все это было бы на пользу.

Персонажи «Огня и ночи» — символы, но и живые характеры. Тут Райнис близок духу современной ему поэзии и драматургии: где-то рядом, за

спиною угадываются Ибсен и Гауптман, Л. Андреев и Блок.

В «Огне и ночи» впервые проступила одна из самых существенных черт Райниса: быть и небыть, жизненподобное и чудесное в его мироздании не разделены или же разделены зыбкой, постоянно нарушаемой границей.

При всей философской насыщенности пьесы она не отпугивала даже не слишком искушенного зрителя: никто не считал ее отвлеченно заушью. Помогал, конечно, знакомый сюжет. Но в этом тексте есть свои секреты, он, повторим, рассчитан на разные уровни восприятия и в каком-то смысле был дан «на вырост». Может быть, впервые после латышского перевода Библии, после «Фауста» Гете, переведенного в тюрьме Райнисом, читатели и зрители «Огня и ночи» встречались с таким масштабом размышлений о жизни и смерти, о смысле и загадке бытия. На их родном языке разве еще «рассыпанный эпос» народных песен так же бесстрашно заглядывал в высь и глубину, так же старался постичь все вплоть до непостижимого.

Драма «Огонь и ночь» впервые опубликована в 1905 году. Первую постановку осуществил в 1909 году Новый Рижский театр; успех был неслыханный, громадный.

Пьеса не раз переводилась на русский язык. При жизни автора вышел отдельной книгой французский перевод драмы. В 1965 году она опубликована на эстонском языке. Композитор Я. Медыньш написал оперу «Огонь и ночь», и впервые на сцене оперного театра в Риге она была поставлена также при жизни Райниса; в 1966 году осуществлена новая постановка.

Книжные издания, сценические воплощения драмы Райниса стали заметными вехами в развитии латышской культуры, событием творческой биографии режиссеров, артистов, художников нескольких поколений.

Роальд ДОБРОВЕНСКИЙ

ЗВЕЗДЫ МАНЬЧЖУРИИ

Рассказы*

ХРАМ СНОВ

(Из найденного дневника прапорщика Рязанцева)

I

Провинция Син-цзян, 1921 г.

Числа не знаю, — потерял счет дням . . .

Как я обрадовался, обнаружив на дне вещевого мешка свой дневник! Я считал его давно потерянным. Теперь он мне очень нужен, потому что заменяет собою как бы здравомыслящего человека, которому можно все высказать, а то — меня окружают полусумасшедшие, какие-то жуткие обломки людей, которых жизнь раздавила так же, как чудовищный танк давит раненых в бою.

Правда, переплетенная в кожу тетрадь молчит, но она полна трезвых рассуждений, которыми я делился с нею раньше, и ее молчание напоминает разумного человека, который хотя и не говорит, но уже своим видом успокаивает.

И как много нужно записать! . . .

Я совершил большую ошибку, что бежал вместе с Кострецовым из концентрационного лагеря войск атамана Анненкова, интернированных в Китайском Туркестане! Прежде чем приглашать Кострецова в товарищи по бегству, мне следовало бы подумать, что скрывается за его невозмутимым хладнокровием в бою и спокойными профессорскими манерами. Теперь я знаю: это — безразличие к жизни и какое-то барское нежелание напрягаться . . .

Но нельзя и слишком упрекать себя: Кострецов — высокообразованный человек, изучал восточные языки, до войны занимался археологией и даже посещал в составе научной экспедиции те же места, по которым лежал наш путь . . . Чем не товарищ?

* Окончание. Нач. см. «Даугава», 1989, № 12.

Бежать из лагеря было легко, — нас почти не охраняли, — но вот теперь, в результате этого бегства, я сомневаюсь, что когда-нибудь покину эти проклятые развалины: боюсь, что придется кончить так же, как на моих глазах кончали другие . . .

Мне как-то дико сознавать, что отклонение от намеченного нами пути было вызвано простым обломком камня, на который я же и пригласил Кострецова сесть отдохнуть! . . . Это произошло на унылой дороге, в безлюдной местности, на пятый день пути.

Кострецов сел было, но, посмотрев на камень, торопливо стал сбивать с него мох каблуком.

— Смотрите! Ибис . . . священная птица древних египтян! — воскликнул он в волнении, указывая на расчищенное место.

— Да, действительно, похоже на птицу с длинным клювом, — сказал я, разглядывая высеченный на камне знак, — но почему ей не быть журавлем?

— Журавлем? — воскликнул Кострецов. — Журавлей не высекают вместе с изображениями полумесяца и диска . . . Только Тот, лунный бог египтян, удостоивался этих знаков . . . Его же называют Измерителем, мужем божественной Маат . . . Греки отождествляли его с Гермесом Трисмегистом . . . Гармахис, Баххатет . . .

Имена богов и демонов в фантастическом танце заплясали вокруг меня, пока я упорно раздумывал — на что они мне и ему, людям без родины и денег, которым больше всего следовало задуматься о целостности своих сапог и о своих тощих животах.

Кострецов вдруг оборвал свою речь и задумчиво произнес:

— Всегда так: когда ищешь, не находишь, а когда не ищешь — само приходит . . . Дикая случайность! . . .

И тут же, немного подумав, он заявил, что дальше не пойдет: ему, видите ли, нужно произвести тут кое-какие исследования, ибо знак ибиса в Китайском Туркестане как раз подтверждает вывод, к которому он пришел в Египте, занимаясь раскопками . . . Само собой разумеется, он не может посягать на мою свободу и отнюдь не требует, чтобы я тоже оставался. Чтобы облегчить мое дальнейшее одиночное путешествие, он просит меня принять часть имеющихся при нем денег . . .

Пока он говорил, разительная перемена совершалась на моих глазах: этот человек, с которым я совершил такой длительный путь ужаса и страданий белого движения, с кем проводил бессонные ночи в партизанских засадах, мерз и голодал, делясь последним, — этот человек превращался в чужого, страшно далекого от меня незнакомца, кому моя дружба и присутствие сделались излишними . . . Боль и досада — вот что я ощутил!

— Знаешь, — сказал я ему немножко хрипло, — оставь свои деньги при себе и знай, что для меня (я сделал ударение на «меня») не существует таких неотложных дел, ради которых приходилось бы бросать старого товарища черт знает где! Пусть это делают другие, а я . . . я остаюсь, пока не кончатся твои . . . как бишь? — изыскания!

Мои слова подействовали: Кострецов сказал, что он, может быть, не так выразился, как следовало между друзьями. Но он очень благодарен мне за мое решение . . . Пока что он воздержится от объяснений, потому что изыскания могут еще и ничего не дать, и тогда он попадет в смешное положение. Но если получится хоть какой-нибудь результат, он все объяснит!

— А теперь . . . — тут он достал из сумки какой-то мелко исписанный листок и, посмотрев его, простер руку на юг, — нам придется свернуть вот куда!

Велико же было мое удивление, когда, пройдя некоторое расстояние в сторону, я убедился, что идем мы по еле заметной тропе или, вернее говоря, по слабым следам людей и животных.

— Да, это так, — мы на пути! — уверенно кивнул мне Кострецов, заметив мое удивление.

Первые проведенные в дороге сутки выяснили, что мы не единственные, движущиеся в этом направлении: перед самым закатом нам попался пожилой сарт. Помню, когда я вглядывался в него, у меня невольно возникла мысль, что более совершенно выраженного страдания я не видел ни на чьем лице. А приходилось мне видеть немало трепещущих жизнью, которые извивались под вонзившимися в них когтями смерти . . . Но в тех больше было внезапно овладевшего человеком мучительного страха! Здесь же, напротив, эти эмоции совершенно отсутствовали, оставив место лишь придавленности, безысходному горю и такому отчаянию, которому человек уже не в силах помочь.

Странно: Кострецов, так же пристально, как и я, разглядывавший путника, торжествующе выпрямился и, точно получив какое-то подтверждение своим догадкам, уверенно бросил мне:

— Я еще раз говорю: мы на правильном пути!

Второго путника, или, вернее говоря, группу путников, я видел ночью. Кострецов спал крепко, но я сквозь сон услышал пошамкивание, какое время от времени издает усталый верблюд.

Мы спали среди камней, возле дороги. Осторожно приподнявшись на локте, я выставил голову ровно настолько, чтобы видеть. Светила луна, и на меня тотчас же упала черная тень женщины, восседавшей на верблюде. Ее сопровождали двое пеших погонщиков, которых я не мог хорошо разглядеть. Но зато ее я рассмотрел . . .

Девушка или женщина, — я не знаю, — она по своему типу не напоминала ни одной из знакомых мне восточных народностей; и она была красива какою-то надломленною красотой, которая в самой своей основе уже как бы трагически обречена.

И опять та же печать невыносимого страдания на лице, какую я уже видел в этот день!

— По этой дороге идут только печали и . . . мы! — прошептал я испуганно и поспешил уткнуться в жесткую землю, чтобы уснуть.

II

По мере дальнейшего продвижения все безрадостней становилась местность; исчезли холмики, овражки, редкие кустарники, отсутствовали и животные, которые до сих пор иногда оживляли пейзаж. Словно между двумя жерновами, мы шли по безотрадной земле, придавленные сверху холодным велением неба. Великий Художник, сотворивший прелестнейшие уголки земного рая, — Тот Самый, Кто даже пустынные полярные моря покрыл плавающими сооружениями голубоватого льда причудливых форм и стилей, — здесь бессильно, охваченный усталостью и внезапной тоской, молча прошел эту равнину, даже не вздумав коснуться ее могущественным резцом . . . И все-таки на ней оказалось кое-что. Оно вынырнуло в знойном трепетании воздуха, окрашенное дально в призрачные цвета марева: длинный, низкий холм, пологий с обоих концов и почти горизонтальный сверху. Гигантская выпуклость равнины с почти геометрически правильными линиями, синяя от толщи разделяющего нас воздуха, — она застыла, как грудь великана, внезапно приподнятая вздохом.

По мере приближения к холму мною овладело мучительное чувство,

что на этом пьедестале чего-то не хватает. Я силился, стараясь придумать, чего именно не доставало, — пока ясно не ощутил, что тут должен был находиться храм . . . Да, да, — языческий храм какому-то страшно одинокому духу земли, ищущему уединения, где мог бы он, никем не тревожимый, возлежать облаком и из века в век жадно прислушиваться к шепотам Космоса, полного далеким гулом рождающихся и погибающих миров . . .

Я почти видел этот храм: овальное основание, колоннада со всех сторон; плоская крыша без всяких шпичев и башенок, только зубчатый карниз; весь он — сосуд, отверстый небу, ухо земли!

Лишь поздно вечером дотащились мы до холма, и тут, надо сказать, он меня изрядно разочаровал: изрытый морщинами, с некоторыми пятнами кое-как возделанной земли и жалкими мазанками, меж которых виднелось что-то похожее на кумирню, ветхую, как сама смерть, — он поражал дикой затхлостью. Но там и сям валялись обломки циклопической постройки, стало быть тут раньше был храм!

У полуразрушенных ворот кумирни спал вратарь, пропустивший нас с самым безразличным видом.

Не встретив во дворе ни одной души, мы сами устроились на ночлег в одной из пустовавших глиняных мазанок.

— Теперь я знаю, — мы пришли! — сказал Кострецов, разглядывая перед сном тот же исписанный листок, по которому справлялся раньше.

Я хотел спросить, куда мы пришли, но адская усталость буквально валила меня с ног, и я решил задать этот вопрос завтра.

Я проспал не больше часу, а потом проснулся, мучимый то ли клопами, то ли переутомлением, претворившимся в тягучую бессонницу.

Первое, что я заметил, было отсутствие Кострецова.

Помаевшись еще с полчаса, я встал, решив подвергнуть кумирню осмотру при лунном свете. Проскользнув несколько закоулков между мазанками и небольшую площадку перед самой кумирней, я смело шагнул в настежь открытую дверь. Лившийся в решетчатые без стекол окна свет дробился на потрескавшихся изображениях позолоченных богов и переливался в струйках золотистой пыли. Мне бросилось в глаза, что статуи богов имели скорее египетский, чем монгольский разрез глаз и были значительно монументальнее, нежели мне приходилось встречать в других кумирнях. Традиционный треножник, где сжигаются бумажные курительные свечи, еще распространял слабый аромат. Но последний не в силах был преодолеть затхлости ветхой постройки, — она определенно отдавала брошенным амбаром.

Неожиданно я вздрогнул: с косяка узенькой дверцы на меня глядело желтое изможденное лицо живого человека в одеянии монаха. Вглядевшись, я убедился, что он дремал, сидя в резном кресле перед столиком, на который посетители кладут подношения.

Лежащий на подносе перед ним русский золотой навел меня на мысль, что здесь, быть может, проходил Кострецов.

На цыпочках я шмыгнул мимо дремавшего монаха и очутился в другом помещении, слабо освещенном древним светильником. По углам дымилась курильницы, и дым от них свивался в причудливые клубы под потолком. Под его колышавшимся покровом с дюжину человек спали прямо на полу.

Между ними я сейчас же узнал женщину, чья тень покрыла меня ночью, когда я находился на дороге скорби . . . Но теперь всякий след страдания исчез с ее лица; оно дышало экстазом подлинного счастья; полураскрытый рот буквально звал поцелуй, и задор, обнявшийся со смехом, витал на губах.

В конце ряда более невозмутимых мужских лиц, за старушкой с идиотски-блаженным лицом, лежал Кострецов.

Я сел рядом с погруженным в сон спутником и задумался — что значит все это?

Совершенно неожиданно моя задумчивость перешла в легкую, приятную дрему. Я примостился поудобнее — и увидел сон.

III

Он начался резким гудком паровоза, таким неожиданным, что я даже испугался . . .

Суета на вокзале . . . На перроне полно народу, — негде поместиться . . . Все — русские . . . Несут без конца баулы, чемоданы, корзины. Сторожа в помятых картузах и запачканных передних катят тележки с багажом. Тележки скрипят, визжат, сторожа переругиваются, — никак не проедешь . . . Гам, смех, веселая толкотня . . . Ничего не могу разобрать, где я, что такое творится . . .

— Скажите, пожалуйста, — обращаюсь я к бородатому человеку купеческой складки, в картузе и поддевке, у которого все лицо — сплошное благодушие и радость, — куда же весь этот народ едет?

— Как — куда? — удивляется он. — С луны вы свалились? Домой, в Россию едем! Большевиков прогнали, — всей нашей маяте конец пришел . . . Можно сказать — народ так обрадовался, так обрадовался . . . Митровна, — обращается он к жене, — куда же Митюха, пострел, убе? Поезд-то подходит, как бы малец под паровоз не угодил . . . Митю-ха, — громко гудит его мощный голос на всю платформу.

Я стою, опешивши, а потом спохватываюсь: ведь правда, в самом деле! Люди сказывали . . . Надо и мне обратно, в Тамбовскую губернию!

А тут, смотрю, — однополчанин! . . . Ротный командир Коваленко с полупреком, с полусмешком машет мне из толпы рукою и говорит немножко с проносом:

— Что же вы, прапорщик, здесь стоите? От своего эшелона вздумали отстать, а? — А потом, все больше расплываясь в неудержимой улыбке, указывает рукою: — Вот тут, на запасных путях, наш эшелон стоит! Все наши в сборе — только вас не хватает! Ну-ну, не жмите так сильно руку; в ней ведь осколок застрял . . . Конечно, понимаю . . . чувства . . . — А сам так и сжимает мою руку, точно клещами.

Я борюсь с внезапно охватившим меня сомнением . . . Ведь штабс-капитана Коваленко на моих глазах снарядом в бою убило . . . Но сомнение уступает очевидности, тем более, что глаз, вдруг приобретенный необыкновенную зоркость, стал охватывать чудовищные пространства, — чуть ли не вся Русь родимая как на ладони! Вот в сибирских снегах и метелях впереди хмурой рати мелькнул орлиный профиль адмирала Колчака; вот поодаль — «брат-атаман» Анненков с казачьей сотней; а еще дальше, где-то в стороне, пробивая путь к родной земле, — сумрачный боец, барон Унгерн фон Штернберг ведет свою кавалерию на монгольских лошадках и грозно помахивает ташуром . . . И еще другие, — живые и мертвые, шкурники и герои, — все спешат возвратиться . . . А тут, рядом, на веером раскинувшихся запасных путях — эшелоны, без конца эшелоны . . . И все вагоны украшены зелеными березками; на орудийных лафетах — венки; звуки джоуны гармоник и веселого солдатского трепака несутся со всех сторон . . .

— Вот посмотри! — говорит Коваленко, еще указывая в другую сторону. — Во-он пароходы!

И действительно, я увидел голубые моря, вспененные винтами мощных гигантов, выбрасывающих тучи дыма...

— Все беженцы, как один человек, с разных стран и на родину едут, — ликующе добавил Коваленко, — и жизнь же теперь будет!

Я ничего не успеваю ответить, потому что слышу еще один голос, зовущий меня... Это — Нина! Ну как я ее не заметил, если она тоже здесь!

Свежая, румяная, точно сейчас выкупали ее в утренней росе, с блестящими глазами, в том же светлом платье, которое было на ней в день расставания, два года тому назад, — она еще раз перекрикивает весь этот гам:

— Андрюша!

Мчусь к ней, схватываю ее за руки и... неожиданно выпаливаю:

— Нина... а мне передавали, что ты в мое отсутствие с комиссаром сошлась... наших предавала!..

— И ты поверил? — Она звонко хохочет: — Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха, — начинаю я тоже хохотать.

Хохот, наполовину истерический, сотрясает все мое существо; в сонном видении происходят какие-то непонятные сдвиги: платформа со всеми пассажирами поднимается в воздух над поездами, а последние проваливаются в какую-то глубь...

Кто-то трясет меня...

IV

Открыв глаза, увидел Кострецова. Он старался меня успокоить:

— Тише!.. Ты уже разбудил меня, — еще и других разбудишь! — шептал он над моим ухом.

Когда я окончательно пришел в себя, он спросил:

— Что тебе приснилось?

Волнуясь, я начал было рассказывать, но Кострецов увлек меня на паперть храма, сказав на ходу, что в том месте, где мы только что спали, всякий шум мог причинить страдания людям, уже немало пострадавшим. Молча он выслушал мой рассказ, временами кивая головой, точно соглашаясь: так, мол, должно быть...

— Что же это все значит? Куда мы наконец пришли? — закончил я вопросом.

Кострецов уселся в нишу и совсем скрылся в тени. Одно время я видел только огонек его папиросы, — а затем ко мне стали долетать слова:

— ... Мы в храме Снов... Это невероятно, но... разве один из нас уже не удостоился видения, доведшего его до радостной истерики? Мы — первые европейцы, посетившие это место...

На мысль о существовании такого храма он натолкнулся в Египте, расшифровывая здорово выветрившуюся надпись на камне пустыни. В ней имелись указания на поклонников Тота, лунного бога, которые, в ущерб солнечному Ра, образовали отдельную секту, за что были изгнаны фараоном... Изгнанники удалились в страну, которая, судя по смутным данным, могла быть лишь нынешним Китайским Туркестаном. Здесь они соорудили храм, привлекавший паломников со всех концов мира, ибо все страждущие и обиженные судьбой могли видеть в нем сны, в которых воплощались все их желания и восстанавливалось утерянное счастье...

— Стало быть, обломки на холме — от этого сооружения? — перебил я его.

— Да, таинственные вихри, бросившие полчища народов Азии на другие страны, смели это сооружение, но . . . снести стены еще не значит уничтожить храм! И, мне кажется, что он, хотя и в других формах, будет существовать, пока существует человеческое страдание. . . «Земная жизнь объята снами», — процитировал он из Тютчева, — разница лишь в том, что в остальном мире всяк грезит где попало и как попало, а здесь — монахи подсыпают в курильницы какую-то особо ароматную траву. В глухих уголках пустыни и даже в населенных городах некоторые колдуны и знахари знают дорогу, установленную знаками ибиса — птицы Тота, и направляют сюда тех, кому не по силам бремя жизни. Вот почему, кроме нас, здесь оказались и другие посетители.

Он оборвал речь: из мрака, сгустившегося в затененной стороне храма, вынырнули две фигуры, таща на руках третью. Луна на миг озарила лицо этой третьей фигуры — то была маленькая, сморщенная старушка с идиотски блаженным выражением лица, и было несомненно, что старушка перестала жить . . .

— Радость убивает! — после краткого молчания донесся до меня торжественный голос Кострецова. Его папироска вспыхнула сильнее — по-видимому, он усиленно затягивался.

Охваченный жутью, я промолчал несколько секунд, а затем обрушился на Кострецова с торопливыми вопросами:

— Для чего нам все это? Какую пользу, в конце концов, можно извлечь из нашего открытия? Что же мы должны предпринять?

— Абсолютно ничего! — был спокойный ответ. — Объявлять во всеуслышанье о нашем открытии не следует, нас могут счесть за ловких выдумщиков; кроме того, сны — не участок нефтеносной земли и сулят мало барышей! — Он презрительно захохотал. — Мы еще побудем здесь, а затем навсегда покинем это место!

— Почему бы нам не сделать этого завтра?

Кострецов замаялся и заговорил путаясь, сбивчиво . . .

Оказывается, мой истерический хохот оборвал его сновидение, как бы сказать, накануне какого-то откровения, которое могло бы пролить свет на его прошлые ошибки. Он увидел бы ее, эту проклятую жизнь, каковой она могла бы быть, если бы . . . Одним словом, то счастье, которого он хотел достичь, только начав жить, — в сонном видении буйно начало осуществляться. Отказать себе в продолжении он в данный момент не в силах . . .

Светало. Один за другим покидали храм утомленные видениями люди. Среди них, шатаясь, с полузакрытыми глазами, прошла девушка, — и на меня опять упала ее тень . . .

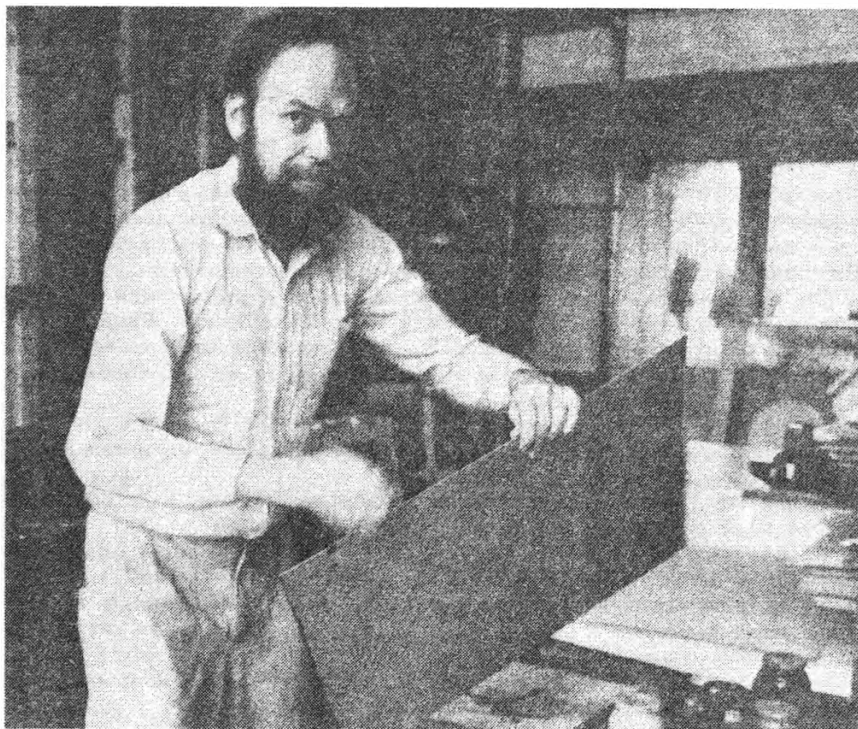
Мое сердце сжалось, томимое предчувствием, что все это неспроста и имеет какое-то конечное предназначение.

V

Уже целая неделя проведена здесь. В кумирню прибыл сарт, которого мы обогнали по дороге. Прошлой ночью я видел его среди спящих в храме, куда хожу каждую ночь, увлекаемый жутким любопытством и, кажется, еще и другим чувством . . .

За это время монахи вынесли еще два трупа — жертв нечеловеческой радости, которая убивает. Их бросают в овраг, где днем и ночью грызутся шакалы. При приближении к ним шакалы разбегаются во все стороны, и тогда кажется, что на дне оврага серо-бурый, копошащийся

(Продолжение на 34-й стр.)

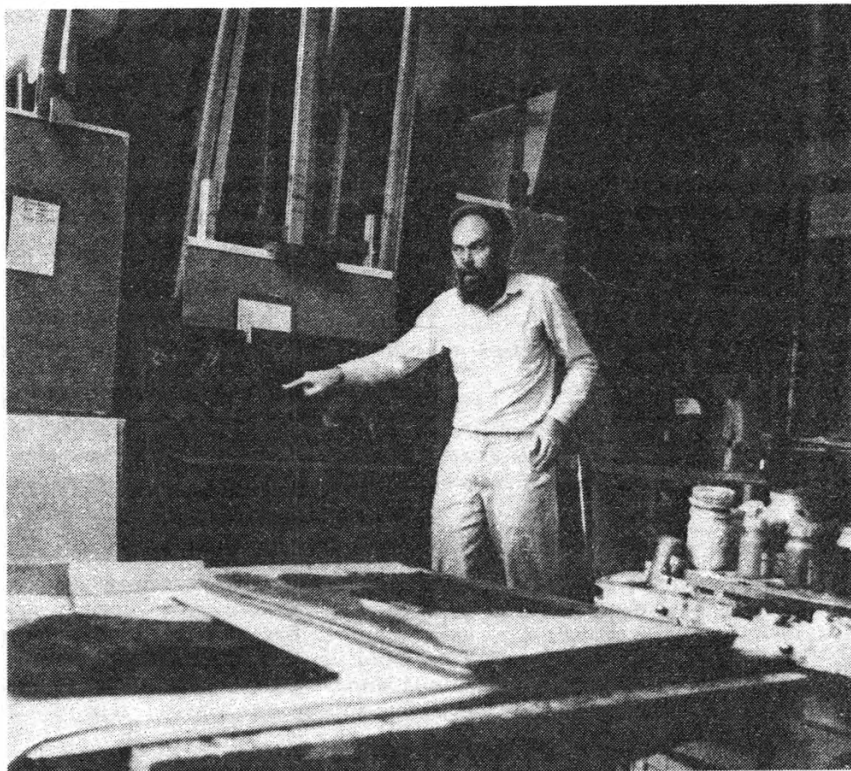


ВИЗУАЛЬНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИЛМАРА БЛУМБЕРГСА

Не так давно мастерскую художника Илмара Блумбергса посетили воры. Они взяли лишь одеяла, простыни, часы, еще какие-то не слишком ценные вещи, но не тронули ни одной книги, ни одного полотна живописи, графического листа или эскиза декорации. Сам хозяин был даже несколько опечален отсутствием художественного воспитания у жуликов.

Славы и признания Илмар Блумбергс удостоился благодаря декорациям к пьесам Райниса, Ибсена и других столь же крупных драматургов.

Слово «литературный» часто носит ругательный оттенок. Однако Илмар Блумбергс до того хорошо ориентируется в произведениях знакомых и незнакомых классиков литературы, что создается впечатление, будто он не читает, а беседует с авторами, не восхищаясь, не преклоняясь, а просто как равный с равными. Такое чувство, что в его визуальной интерпретации эпоса Гесюда «Теогония» или айтматовской «Плахи» просматриваются не впечатление,



импрессии самого художника, а то мгновение, когда замысел произведения еще только зарождался в мозгу писателя и из многих впечатлений и откровений возникал художественный образ. В плакатах к XX Всеобщему Празднику латышской песни этого лета, по-моему, ощущается влияние Райниса — поиск национальной и общечеловеческой гармонии, того древа, чьи корни уходят не только в землю, но и в небо. На его последних графических листах изображено яйцо. Как символ жизни.

Многие признают, что на фотографиях Илмар Блумбергс бывает очень похож на Достоевского. Сходство это не только внешнее. Их обоих единит жажда проникнуть в самую глубину человеческой сущности. Очень надеюсь, что эти немногие строки и репродукции самих произведений Илмара Блумбергса не будут восприняты ориентиром для начинающих воров.

Андрис ЯКУБАН

спрут выпускает свои щупальца, которые по мере удаления рассыпаются в одиночных шакалов.

Кострецов и не думает уходить: он почти не разговаривает со мною, а спит среди бела дня, чтобы набраться сил для ожидающего его ночью счастья, и страшно худеет . . . Я уверен, что его тоже скоро вынесут молчаливые служители, так же как и других, но ничего не могу с ним сделать! Кроме того, меня удерживает здесь еще другое обстоятельство: я, конечно, не грежу в храме, как другие, а захожу туда лишь на несколько минут, стараясь не поддаваться дьявольским чарам, но я умираю от тоски, видя, что эта девушка — ее зовут Зелла — убивает себя медленной смертью на моих глазах и ничуть не поддается уговорам покинуть это место.

Как она не понимает, что ее лицо — самое прелестное для меня видение в мире! Чувствую, что без нее не уйду, или . . . или это кончится хуже . . .

Она — дочь бежавшего с каторги русского, который обосновался в Бухаре и женился там на туземке. Она получила образование в России, где после смерти отца вышла замуж за одного из тех, кого теперь называют врагами народа . . . Муж расстрелян; она томилась в подвалах чека; затем, соблазнившись ее привлекательностью, власть имущие передавали ее друг другу, или, вернее сказать — вырывали один у другого . . .

Ее глаза видели величайшее унижение женщины, ставшей вещью, и теперь она ничему не верит . . . Хотя . . . третьего дня, когда я, как полусумасшедший, стоял перед нею и лепетал бессвязные слова о моем желании весь век употребить на лечение ран, нанесенных ей жизнью, ничего не требуя взамен, лишь бы она жила, — тихое участие появилось в ее глазах, и она ласково провела рукой по моим волосам . . . Но тем не менее она упорно повторяла — нет!

VI

Два дня спустя.

Кончилось одно — начинается другое . . . Кострецов сегодня утром не явился домой . . . Я спросил о нем монаха — тот многозначительно махнул рукой по направлению к оврагу, где шакалы заботятся о погребении мертвых. Неизбежный конец всех, кто приобщился к таинственным чарам сна, заставляет меня действовать.

Я употребил весь остаток средств на покупку у монахов провизии, приспособил под кладь верблюда Зеллы, который до сих пор одиноко бродил у подножья холма. Я сосчитал патроны нагана, — их было семь, — те, которые в гнездах барабана. Наган может пригодиться, потому что сегодня, до наступления ночи, я силою увезу Зеллу, — а в пустыне появились грабители. О них рассказал сегодня утром до нитки обобранный пилигрим.

Чувствую себя изумительно хорошо; у меня есть ясная цель! Труба жизни гремит в моих ушах!

Я еще заставлю Зеллу полюбить милую землю и все сущее на ней, в том числе, может быть, и . . . прапорщика Рязанцева!

Дневник Рязанцева подобран мною на путях беженцев, по пустыням и джелям устремившихся во все закоулки мира.

На том месте, где я его нашел, лежало много человеческих костей и кости одного верблюда. Вероятно, все семь пуль прапорщика очень ему пригодились.

Один скелет был небольшой. Судя по дневнику, он может принадлежать Зелле.

Тут же валялась фуражка российского военного образца, аккуратно брошенная пулей. Глядя на нее, я наполнился диким восторгом: как хорошо он умирал за жизнь!

ПЕСНЬ ВАЛГУНТЫ

I

В тот момент, когда я заснул, мне показалось, что меня разбудили; кто-то тыкал мне в шею, в лицо и в нос чем-то холодным. Открыв глаза, я убедился, что лежу в абсолютной темноте, и стал ощущать напряженную работу мозга; казалось, в нем с сумасшедшей быстротой вертелись какие-то колеса, которые спешно изготавливали для меня новое мироощущение и серию неизвестных дотоле воспоминаний. Перед самым моим лицом вспыхнули в темени два блестящих фосфорическим светом глаза, и я вновь ощутил холодное прикосновение к подбородку и даже толчок. Все-таки я не пошевелился — мне не хватало мысли, импульса действия, не было ни страха, ни желания. Но я чувствовал, что мысль была близка и готова была включиться в мозговые центры, подобно электрическому току.

До моего слуха доносилось царапанье, словно кто-то скользил ногтями по гладкой поверхности дерева, а затем послышалось падение тела.

Почти в тот же момент витавшая в пространстве мысль включилась в мозговой аппарат, и мне сразу все стало понятно.

Теперь ночь. Я лежу в бревенчатой хижине с черным от сажи потолком — и поэтому ничего не видно. Кто-то снаружи хотел открыть дверь, но ему не удалось. Светящиеся глаза принадлежат моему верному другу, полуволку-полусобаке Гишторну, который, услышав шум за дверью, старался меня разбудить, толкая мордой, потому что он, как все волки, лаять не умеет. И теперь надо быть очень осторожным, потому что горная страна на далеком севере, где я живу, полна скрытых опасностей.

Моя правая рука нащупала тяжелую секиру на полу, и я, вместе с собакой, неслышно пополз к двери. Гишторн дышал около моего уха и лязгал зубами: мы — человек и зверь — привыкли всегда биться рядом с тех пор, как только начали помнить друг друга.

У двери я долго прислушивался, чтобы определить, кто захотел навестить меня ночью, но оттуда не доносилось ни звука.

Тогда, лежа на полу, я внезапно открыл дверь. Это была хитрость: если непрошенный посетитель устремится в открывшуюся пустоту с копыем наперевес и со злыми намерениями, — он обязательно споткнется о мое тело и упадет, а Гишторн найдет путь к его горлу, потому что волк в темноте видит гораздо лучше человека . . .

За дверью никого не оказалось, но Гишторн прыгнул вперед и с рычанием остановился над темным комком в снегу. Я бросился к этому комку, и . . . в моих руках со стоном стал извиваться мальчик . . . Я его узнал:

— Зигмар, что с тобою?! Зачем ты здесь?

— Приехали на оленьих санях люди тундр с Замерзшего моря, — стонал мальчик, — те, что на копыя вместо железа насаживают кость . . . Восемь саней, восемь человек . . . Они подожгли наш дом и в каждого,

кто выскакивал, посылали стрелу. Они увезли с собой Валгунту и . . . и меня. Убили старого Валгута и всех слуг!

— Но ты . . . ты ведь здесь?! Чего ты брешешь? — кричал я и, сам того не замечая, так сдавил бедного мальчика, что он застонал пуще прежнего: и все это из-за того, что в моих воспоминаниях, которые теперь с поразительной быстротой восстанавливала память, — про его сестру, Валгунту, мне шептал лес, журчали ручьи, гремел водопад Каменного ключа и облака на небе принимали ее черты . . .

— Я бежал с дороги . . . Валгунта приказала. Нас бросили на одни сани; ей связали ноги, а мне — нет . . . Она и шепнула мне: «Братец, когда будем проезжать мимо обрыва Ворон, — я швырну тебя с кручи: внизу снег глубокий и ты не разобьешься. Оттуда побежишь к Оствагу и все ему расскажешь, если по дороге тебя не растерзает медведь . . . Скажи Оствагу, что теперь больше нет отца, который требовал за меня много коней, — есть только люди тундр и Валгунта, которая ждет . . .» И я шел много часов с разбитыми о камни ногами, — всхлипнул Зигмар, — и все тебе сказал . . . Пусти меня!

— Зигмар! Она так и сказала? Ты хороший, смелый . . . ты самый лучший мальчик! — Я притянул его к себе и порывисто стал гладить по голове. — Иди в дом! Там ты найдешь пищи на месяц, а если я к этому времени не вернусь с Валгунтой, то больше не жди и ступай к взморью — к рыбакам: они тебя приютят! А теперь, — обратился я к волку, — у нас будет самая большая охота, какой ты еще не видел!

II

Так начался мой странный и удивительный сон, который умчал меня через тьму веков, может быть, на тысячу лет назад. Он развертывался с быстротой вне понятий о времени и пространстве — их точно не было! Но зато были ощущения, которые я переживал так ярко, как, пожалуй, никогда наяву.

Ночью, среди застывшего леса, я мчался преследовать похитителей, как зловещая тень, как дух окружающих гор, и горел сумрачной яростью берсеркера: медленно поднимался на крутизны и камнем, пущенным из пращи, слетал с них на лыжах, а рядом со мною несея волк. Человек и зверь . . .

Наши ноги одинаково не знали усталости, и я не ошибусь, сказав, что и желания наши были тождественны: нам обоим грезилась великая охота на забрызганном красными каплями снегом, охота с клохтаньем застревающей в горле ярости, схватка, где ни один сражающийся никогда не слышал о жалости . . .

Но у меня был план, и в этом, пожалуй, заключалось различие между мной и волком. Там, где горы крутой стеной обрывались у страны низких холмов, переходящей затем в бесконечную низменность тундр, было ущелье. «Ворота Тундры» — так оно называлось, и к ним лежал путь похитителей, указанный мне Зигмаром. Известными только мне перевалами и проходами я должен был опередить их там.

В напряженном беге вперед я не помнил счета дней, — несколько раз зарево восхода загоралось передо мной, пока я достиг этого места, и было это теперь таянием снегов.

Почти целый день я провел на каменной вершине у «Ворот Тундры», ожидая, когда в другом конце ущелья замаячат запрокинутые рога ездовых оленей моих врагов.

Только с наступлением сумерек я увидел их: далеко-далеко, черной узловой нитью восемь груженных саней переползли перевал. Впереди

точками двигались несколько фигур на лыжах, и одна за другой исчезали из виду, спускаясь в ущелье.

Я знал, что времени у меня еще много, так как ущелье тянулось на несколько верст, но тем не менее скачками бросился вниз.

Там, в кустарнике, я разложил перед собой на камне стрелы — с расчетом сначала убить переднего оленя, чтобы загородить узкую тропу остальным, которые в этом случае бросятся в сторону и увязнут в сугробах, а я тем временем успею еще выпустить несколько стрел; пока меня не заметят . . . О дальнейшем я не думал: оно должно было выясниться само собой .

И вот только там, сидя в засаде, я впервые стал ощущать время, потому что оно остановилось, тропа передо мной оставалась пуста, никто не показывался . . . А кровь моя бунтовала . . . Я не мог усидеть и вскакивал в бешеных порывах, и волк вскакивал вместе со мной, и шерсть его щетинилась, потому что он инстинктом чувствовал приближение великой охоты. И я сердился так, как никогда в этой жизни, и туман ярости начал застилать мои глаза.

Но тут я заметил зарево костра за поворотом ущелья и понял, что враги располагаются на ночлег. Первый план рухнул.

Собрав свои стрелы, я покинул засаду и заскользил на лыжах к зареву. Первой, кого я увидел, была Валгунта: связанная, она полулежала на снях, придвинутая близко к огню, и свет падал на ее лицо. Это было хорошо: она увидит, как бьется тот, кого она призывала. А разве мужчина не храбрее всего, когда на него смотрят глаза женщины?

Похитители возились поодаль, около других саней, а один из них, с темным лоснящимся лицом цвета прошлогодних листьев, подводил в это время к освещенному пространству коней. Судя по приготовлениям, он собирался зарезать животное на мясо, потому что народу тундр нечего делать с лошадьми.

Я узнал этого коня: это был один из похищенных в доме Валгунты — ее любимец. Его золотистая шея искрилась при свете костра, когда разбойник задирает ему голову повыше и приставляет нож к глотке.

Тут уж я ничего не думал, — тетива в моих руках натянулась точно сама собой, и стрела дзинькнула в воздухе. Она вонзилась глубоко в бок человека с темным лицом, и он, выпустив коня, обеими руками вырвал ее и изломал на куски, но тут же рухнул и сам.

Теперь я выпускал стрелу за стрелой по остальным, и хотя спешил чрезвычайно, зная, что время теперь дороже всего, — все-таки взглянул на лицо Валгунты: мне хотелось удостовериться — гордится ли она моим удачным началом и верит ли в меня и мою силу . . . Мне показалось, что она потянулась навстречу моим стрелам и ее глаза заблестали . . .

Еще трое моих противников упало, но зато остальные сделали то, что должны были сделать. Все четверо, они разом испустили гортанный клич и бегом, делая на ходу зигзаги, побежали к тому кусту, откуда лети на них поющие жала.

Не помню, кто из нас первый выскочил им навстречу, волк или я. В первые секунды мне врезалась в память только серая дуга прыгнувшего Гишторна, который повис на шее одного из бегущих к нам и вместе с ним покатился по снегу. А я в это время рубил и скакал, вертясь волчком среди нападавших. И это было очень трудно, потому что снег был глубок и ноги увязали в нем, — трудно, как всякая великая охота.

Маленькие люди тундр были проворны на снегу, так как снег — их стихия. Они набегали и отскакивали, нанося раны, от которых теплые струи стекали по моему телу. Но я был силен, и волк тем временем уже освободился от своего противника . . .

Пришло время, когда уже мы двое против двух только продолжали плясать на утопанном снегу самую древнюю из всех плясок — танец охоты и смерти . . . И насочки этих двух становились все реже и слабее, потому что волк, не давая опомниться, вихрем кружил около них, насккивал сбоку и сзади, вместе с одеждой отрывая куски тела.

А женщина смотрела на нас и была горда, потому что находилась при своем деле, которое назначила ей природа, — вдохновлять мужчин на борьбу, чтобы они воевали и охотились, были мужественны и могли бы стать достойными отцами поколений, долженствующих утвердить власть человека на земле и повести его к конечной цели — в храм Красоты и Духа . . .

Пал еще один из противников . . . Оставшийся оглушил Гишторна ударом по голове, но в это время я успел нанести ему рану в бедро: теперь он мог сражаться только стоя на коленях. Тогда я отступил шаг назад и сосчитал в уме, — сколько слуг было убито в доме старого Валгута; вышло, что долг крови дому моей будущей жены был покрыт с лихвой, потому что слуг было только четверо, а здесь — восьмой человек ожидал моего удара.

— Бери оленя с санями и уходи в свои тундры: ты храбро сражался! — сказал я своему противнику.

Он покачал головой.

— Я не вернусь с охоты с опозоренной головой к женщинам своего племени. Я хочу туда, где теперь мои братья: мы все из одного рода!

Я понял тогда, что предо мной был очень хороший человек: он знал закон великих охот, был верным братом и не хотел сносить позора поражения. Поэтому я быстро опустил секиру на его голову.

Великая охота была кончена.

III

В моем рассказе не хватает еще двух моментов, которые делают мой сон особенно дорогим для меня. Обыкновенно он всегда приходит мне в голову, когда, после целого дня беготни по конторам, я, мелкий комиссионер, вечером возвращаюсь домой к женщине, которая делит со мной житейские невзгоды; а их в городе машинного века, пожалуй, немногим меньше, чем в первобытном лесу.

Сразив последнего врага, я шел к Валгунте. Только в этот момент, когда оборвалось дикое напряжение борьбы, я стал ощущать боль от ран и нечеловеческую усталость.

Но я шел к ней гордо и прямо. Одним взмахом перерезал я ее пути и сел у костра. Я ничего не говорил: я был мужчина и победитель, а женщина сама должна знать, как ей поступить в подобных случаях.

И она знала . . . Костер запылал ярче, и пока на нем жарилось мясо, Валгунта снегом смывала с меня кровь, она перещупала все мои раны и прикладывала к ним истертый в порошок мох, который тут же высушила на огне. И когда она притащила и положила со мной рядом Гишторна, который, слабо повизгивая, зализывал при огне следы битвы на теле, — тогда я начал ощущать счастье, о котором не умел говорить . . .

Насупившийся лес чернел по скатам ущелья и молчал так же, как я. Мороз крепчал, но я его не чувствовал и ел мясо, приготовленное руками Валгунты. Потом я спал, укутанный в шкуры, а ее тело согревало меня.

Так стала она моей женой.

Обратный путь был труден, потому что ударило весеннее тепло и снег стал таять буквально на глазах. Все полно было одуревших от быстроты потоков, брызг и крутящейся пены у подмываемых скал. Мы слышали гул в горах, и оттуда, в реве ломающего стволы ветра, скатывались камни. Один из них чуть не задел пенногривого коня Валгунты, которому теперь было предназначено стать первым в моей пустовавшей до сих пор конюшне, потому что я был единственный и бедней отпрыск когда-то могущественного рода.

Прошло больше месяца, пока мы добрались до хижины.

Зигмар все-таки был там: мальчик добывал себе пищу самостоятельной охотой.

Потянулась опять полная тревог и опасностей жизнь, но — у меня было приятное сознание, что я не один. И сознание и в то же время ответственность за благополучие семьи, которой предстояло приумножаться, — удваивало мою отвагу, когда я с ножом в руке бросался на медведя. Полный физических сил и здоровья, я любил мир как он есть и ничего не думал в нем изменить. Мысль, что в мире не все хорошо и могло бы быть лучше, — пришла в мою голову гораздо позже. Теперь я понимаю, что хотя я был только дикарем, но природенное человеку томление духа по прекрасному и стремление к неосознанным тогда еще идеалам уже просыпались во мне.

И — странно! — в этом опять сыграла роль та же Валгунта, из-за которой я проливал кровь у «Ворот Тундры».

Это произошло в тот последний вечер, на котором и оборвалось мое сновидение.

Мельчайшие детали этой картины до сих пор необыкновенно свежи в моей памяти, доказательством чему может послужить хотя бы песня Валгунты, которая — строчка за строчкой — сохранена моим сознанием.

Я возвращаюсь из похода, предпринятого мною совместно с рыбаками взморья против разбойников, которые грабили поселения и уводили в плен жителей нашей свободной страны.

Поздним летним вечером я, усталый, ехал домой по горной тропе на коне Валгунты. Туманом курились ущелья в ночной прохладе, и зловеще хохотали совы в лесу. Туман поднимался все выше и седыми клочьями повисал над серыми впадинами.

Такая же мгла суеверия клубилась во мне; я опасался духов гор и темного бора, и грозно нахмуренные очи лесного царя чудились мне меж замшелых стволов. Я вспомнил, что тропа, по которой я ехал, считалась заколдованной, и в облако страха укуталась моя смятенная душа.

Тогда я задумался — почему вся жизнь полна страха и тревог? Почему сильный всегда поедает слабого, хотя бы последний и был прав?

Так я и не нашел ответа и стал думать о доме, потому что уже подъезжал к нему. Слабый свет лился из оконца хижины, и я услышал пение своей жены.

Валгунта пела:

Ночь над скалами: стихла кровавая свалка...
Сырость от пропастей веет;
В чаще лесной хохочет русалка,
Месяц над бором в облаке реет.
С дальней дороги муж мой домой
Заколдованной едет тропой.
Глуше топот в ущельях гор, —

Всадник спешит к родному огню.
Чисто сегодня я вымела двор,
Корму насыпала в ясли коню;
Венок сплела из березовых веток;
Мягко настлала ложе из шкур.
Будет сон твой крепок, крепок, —
На груди у меня ты забудешь про бури . . .
С дальней дороги муж мой домой
Заколдованной едет тропой.

В темной душе моей произошло какое-то движение, точно там замерцал слабый свет. И мне показалось, что я получил ответ на свои вопросы, но не хватало соображения — сделать вывод.

Тихо я слез с коня и стал отворять двери. И вместе с тем в моем сознании стала открываться другая дверь, ведущая меня обратно в нынешний век, — в спальню скромного комиссионера, и я — проснулся.

А теперь я часто задумываюсь о блуждающем по заколдованным тропам человечестве и стараюсь развить мысль, запавшую в смятенную душу дикаря Оствага: не была ли женская и материнская любовь тем семенем, из которого — из века в век — росла и развивалась мысль о любви всечеловеческой?

МИАМИ

I

Кто бы мог верить меня, что история, которую я записываю, не есть мой бредовый сон, родившийся в воспаленном мозгу во время жесточайшего припадка тропической болезни?

Кто бы мог, еще раз спрашиваю я, доказать мне, что эта история действительно была рассказана мне реально существующим человеком, к тому же — русским, по фамилии Кузьмин?

Мне это очень нужно, ибо если в самом деле он существовал и в течение трех удивительнейших часов моей жизни находился тут, рядом со мной, на соседней кровати, в больничной палате № 11, — то я снова влюбленными глазами смотрю на мир и скажу: — «Он вовсе не так плох: в нем, кроме коммерции, есть еще кое-что!»

Теперь кровать рядом со мною — пуста.

Вчера я спрашивал о Кузьмине сестру милосердия (если можно так назвать надменный автомат, исполнявший в нашей палате эту должность), но она ответила, что такой странной фамилии не помнит, и посоветовала воздержаться от разговоров, так как я слаб . . .

Впрочем, это ничего: когда выпишусь из больницы, я справлюсь в канцелярии и, таким образом, узнаю, был ли это сон, или я действительно присутствовал при финале странной драмы, до сих пор продолжающей волновать меня.

А теперь я тороплюсь поскорее записать слышанное и виденное, потому что мой изнуренный мозг грозит утратить детали, как клен один за другим теряет листья осенью. А без них, без деталей, мертва будет всякая правда . . .

Началось с того, что я вышел из пансиона на улицу, томимый предчувствием болезни, приступы которой уже сказывались: звон в ушах, затемненное сознание, в котором рисовалось кольцо пламени, смыкающееся вокруг меня, и я сам — маленький-маленький — стоял в середине, словно в чашечке огненного цветка, чьи лепестки охватывали меня и соединялись над моей головой.

Я мечтал о дожде, о тропическом дожде, который падает с облаков радужного оникса и мягко шуршит в пальмовых листьях. А так как дождь не являлся, а асфальт и стены дышали пеклом, то я ненавидел все окружающее, вплоть до зеленых явских воробьев и индусских полицейских на перекрестках.

А жара тем временем проникала уже в самое сердце, которое билось колеблясь, неверно и иногда, точно в раздумье, чуть-чуть не останавливалось.

Было безумием в таком состоянии появляться на улице, но меня гнало из пансиона взвинченное до крайности воображение: все обиды российского изгнанника кипели во мне, начиная с надменно-недоверчивых взоров кучки английских чиновников на пристани, при высадке, видевших во мне вопросительный знак, человека со врожденным бунтом в крови, банку разрушительных микробов, — и кончая ледяным обхождением со мною в пансионе нескольких «мисс», в чьем воображении я, может быть, являюсь блудным сыном безнравственной матери, отплясывающей непристойные цыганские танцы, чьи дочери и сейчас продолжают соблазнять правоверных иностранцев по вертепам Дальнего Востока . . .

И я шел в Ка-лун, туземный квартал, стараясь превратить себя в скифа, полузапята, чтобы прислушиваться там к шипению скрытой ненависти, питаемой цветным населением к белым братьям. Мне хотелось окинуть взглядом сумасшедший бег бурливой реки желтых лиц, стиснутых в узких улочках, и прикинуть в уме — что будет, когда взбеленится эта река в грозу и в сумрачной ярости помчит свои волны к чинным кварталам . . .

Цель моего путешествия была уже недалека; за поворотом рева и галдеж несметных разносчиков и торговцев с ларька понесся мне навстречу; замелькали шелковые халаты и вонючие отрепья отдельных лиц из толпы, сгрудившейся на полукрытой площади. Я видел потные лица кули, волочивших какие-то мешки, раскрытые рты охрипших продавцов, машущие и зазывающие руки — все, что составляет дальневосточный базар.

Вдруг, в самой гуще движения, посреди рогатых шестов палаток, где-то резко стегнуло воздух . . .

Треск хлопущек? Нет! — выше базарного галдежа в смертном испуге взвыл чей-то визгливый голос . . . Несколько вскриков, и почти мгновенно настала тишина, в которой слышалось лишь глухое топанье сотен ног и шарканье тел.

Я машинально продолжал шагать, но впереди, один за другим, посыпались выстрелы — ровно с такими промежутками, сколько требуется, чтобы вводить новый патрон в карабин.

Но что было потом! . . . Словно взрывом, разметало толпу, и началось бегство с площади. Лица, искаженные страхом, заплескали предо мной в дикой пляске. И хотя люди в самом деле бежали, обгоняя и опрокидывая друг друга, — мне это показалось бегом на месте, потому что я тупо глядел вперед, и одно лицо в моих глазах так быстро сменялось другим, почти одинаковым, что создавалось впечатление дергающегося занавеса из человеческих тел, скрывающего начало ультрафутуристического представления.

Я даже начал подумывать, что это — шутки огненного цветка, подбигающего к моему мозгу, как вдруг стена колышущихся лиц совершенно исчезла, и я — точно сорвали занавес — очутился перед пустой сценой — площадью.

Теперь мне было ясно видно, что стрелял не кто иной, как индус-полицейский.

«Здесь были разбойники, — сказал я себе, — он стрелял в негодяев, а трусливая толпа бежит! Уважающий себя человек никогда не должен руководствоваться примером толпы», — добавил я еще.

Если бы в эту минуту кто-нибудь подсказал мне, что здесь — а м о к — случай бешенства, вроде собачьего, возникающего у цветных народов во время адской жары, когда такой взбесившийся с пеной у рта и с чем попало в руках бросается на людей, убивая и кроша на своем пути все, — я, пожалуй, тоже обратился бы в бегство, но я это узнал лишь впоследствии.

Итак — я не преступник, и поэтому — спокойно вперед! Пусть индус продолжает защищать колониальные законы Англии, — ко мне это не относится. . . Что за черт? Он целится в меня! Где справедливость? . .

Я споткнулся о скорченное тело раненой женщины и шлепнулся. Это спасло меня: свинцовый подарок только сбил шлем.

Индус определенно счел меня убитым; с лицом, в котором судороги перемещали мускулы в совершенно неуказанные им места, он дергался, подпрыгивал и издавал похожие на рыдания звуки: свой огонь он направил по новой цели — человеку, только что появившемуся из-за угла. Тут впервые в мою голову закралась мысль о сумасшествии, но, как ни странно, я приписывал это состояние не полицейскому, а именно тому человеку, который шел сюда: в него стреляли, — он это видел, — и тем не менее он шел . . .

Это был невероятно загорелый европеец с волосами светлее кожи, одетый в расстегнутую на груди рубашку и в светлые брюки. Когда на его шляпе взвился и встал рожком оторванный пулей лоскут — он быстро нахлобучил ее обеими руками, отогнул спереди поля вниз и, нагнув голову точно бык, как-то боком стал приближаться к полицейскому.

Такое выражение напряженнейшего ожидания и слепого упорства, какое было у него на лице, я видел только один раз, в игорной трущобе Макао, где тучный кассир, после крупного проигрыша не принадлежащих ему денег, впился глазами в рубашку решающей карты в последней ставке . . .

Он почти поравнялся со мною, как его буквально перевернуло новым выстрелом. Падая, он схватился за бок и совершенно отчетливо произнес по-русски:

— Она все-таки ошиблась на один день!

Что было дальше, — не представляется мне ясным. Откуда-то быстро вынырнул отряд полицейских: началась суматоха, в которой я не мог разобраться, потому что я весь уже был во власти огненного припадка и мое сознание потонуло в мутном хаосе.

II

До этого места описание событий особенных сомнений не вызывает: амок в Гонконге случается, хотя сравнительно редко, — я мог на него напороться, потерять сознание от нервного потрясения и быть отправленным в больницу, где и пришел в себя. Но вот это «пришел в себя» заставляет задуматься. Мне кажется, что оно произошло только наполовину, потому что иначе я не мог бы воспринимать вещи и явления в таком удивительном смешении, — на той именно грани, где фантастика сливается с действительностью.

Впрочем, вначале все было сравнительно ясно.

Когда я открыл глаза, я вовсе не стал задавать себе трафаретных вопросов, как например:

Где я?

По обстановке и по запаху — главным образом, по запаху, — я сразу же определил, что нахожусь в больнице, потому что даже в самых лучших госпиталях, как бы они ни проветривались, в самой их атмосфере всегда остается что-то присущее только больнице.

Была ночь. В слабом свете затемненной лампочки я всматривался в окружающее.

Простыни, брошенные на больных, белели в полумраке, образуя на согнутых коленях спящих кубообразные несимметричные глыбы, похожие на камень, из которого пораженный безумием скульптор высек руки с опухольями, одутловатые и неестественно изможденные лица.

Все это вызывало во мне представление об отбросах мастерской Природы, откуда она выкинула все уродливое, весь неудавшийся хлам, который оскорблял цветущую землю.

Вот тут, налево, что-то толстое, раздутое — глыба материи, которую душит водянка; напротив чья-то засохшая голова, почти один череп, обтянутый желтой кожей и со страшно глубокими впадинами глаз; направо: э-э, что-то знакомое. Да, это тот самый русский, который, чисто по-славянски, шел туда, куда не следовало . . . И он не спит, и его лицо до сих пор сохраняет то странное выражение, о котором я уже говорил.

Я поворачиваюсь к нему и, не найдя ничего лучшего, что сказать, тихо шепчу:

— Вы . . . вы тоже здесь?

Так же тихо, точно это большой секрет, которого никто не должен знать, кроме нас, двух сообщников, он настороженным шепотом отвечает:

— Да, я тоже . . . — И пытливо добавляет: — Скоро ли будет рассвет?

У меня нет часов, и я не могу удовлетворить его любопытство, но в этот самый момент, точно по заказу, точно таинственный дух подстерг его желание, — где-то за стеною бьют часы. Мой сосед сосредоточенно отсчитывает, нагибая голову при каждом ударе.

— Еще три долгих часа . . . — таинственно сообщает он мне.

— А что . . . что будет после этих трех часов? — как-то сразу возбуждаясь, спрашиваю я и мгновенно проникаюсь к нему необъяснимой верой и сочувствием.

— Будет рассвет, а на рассвете я уйду отсюда.

Я опечалился: в мою голову пришла мысль — как тогда, на площади, — что этот человек, который, нахлобучив шляпу на глаза, быком лез на пули, — ненормальный. Ведь его ранили! . . . Как же он, бедняга, уйдет?

— Но ведь вам, кажется, попало — и — здорово?

— Ну, конечно, — смертельно! — убедительно согласился он тем же шепотом.

Я замолчал: он — помешанный! Но долго молчать я тоже не мог: где-то в моем сознании висел, зацепившись, вопросительный знак и беспокоил, как заноза: что означало странное восклицание этого человека, когда он падал раненный?

— Вы, кажется, говорили про какую-то ошибку там, на площади?

— Это была неправда: ошибки не было — она не могла ошибиться . . . Ошибся я, считая, что смерть последует немедленно.

— Кто это — она?

— Миами, моя жена.

— Так что же, — жена сказала, что вас застрелят?

— Вот этого она, именно, не сказала, то есть не сообщила, каким образом произойдет моя смерть, но точно указала ее на рассвете сегодняшнего дня. Вот почему мне вчера и захотелось испробовать амок: если предсказание Миами правильно, то вчера, то есть днем раньше, со мной ничего бы не должно было случиться и бедняга индус зря выпустил бы в меня свои заряды . . . Я, может быть, еще и скрутил бы бешеного . . . Но вот тут-то я и ошибся: упустил из виду, что ранить могут и раньше, а умереть придется сегодня . . .

Все это он высказал уверенно, а под конец — даже с какой-то затаенной радостью и с такой убежденностью, что я сразу поверил: да, этот человек сегодня умрет.

Но меня возмутила женщина, изрекающая такие приговоры мужу, и я почти воскликнул:

— Что же это за жена, которая . . .

— Тс-с! — Мой собеседник приложил палец к губам, — Тише: я больше всего боюсь, что кто-нибудь услышит и помешает мне спокойно умереть . . . И — ни слова о жене: она была чудная женщина!

— Почему же, — я опять понизил голос до шепота, — вы говорите, что она — была? Разве теперь ее нет?

— Ну, конечно, — она же умерла во время родов и все это сказала мне потом . . . Вы ничего не знаете: если бы вы видели мою Миами! . . . Знаете что, — тут он оживился, точно сделав неожиданное открытие, — когда я начинаю говорить о ней, мне сразу становится легче. Может быть, вы позволите мне говорить о Миами все эти три часа? Можно? Какой вы, право, добрый! Только не можете ли вы пересесть на мою кровать?

Я отрицательно покачал головой, потому что жар, точно дремавший во мне до сих пор, как будто задвигался: он ускорял молоточки сердца и, разбиваясь волнами, опять стал угрожать моему сознанию.

— Тогда я сам пересяду к вам, — сказал мой собеседник и стал спускать ноги с кровати. Широкое красное пятно, величиной с блюдечко, на забинтованном боку, при движении на моих глазах расплзлось еще шире, а он все-таки перебрался и сел.

— Видите ли, Миами . . . Да я сам точно не знаю, что она такое . . . По всей вероятности, смесь португальца с полинезийкой, брошенный ребенок, очутившийся у китайцев . . . Но для меня она — все женщины мира в одной . . . А сам я — русский, по фамилии Кузьмин . . . Кузьмин из Ростова . . .

Старый Фэн-Сюэ подарил мне Миами совсем подростком, — там ведь женщины рано созревают для брака, — когда увидел, что я собираюсь покинуть его катер, чтобы прокутить заработки в порту. Знал ведь старик, чем меня удержать. Фэн дорожил мною, как лучшим мотористом и стрелком во всей его общине. Он подобрал меня в Шанхае, когда я на последние деньги зашел в тир . . . Знаете, стрельбище такое, где пулькой нужно сбить вещь, и если сбили, — вы ее получаете. Я там выбивал эти штуки до тех пор, пока хозяин заведения не отказал мне в дальнейших выстрелах. Тут Фэн сразу заговорил со мною, а как узнал, что я еще и моторист, забрал меня с собою.

Для Фэна и его шайки, — как бы сказать, — не существовало таможи: так, прямо в открытом море, с судов, нам сбрасывали ящики с оружием и с наркотиками . . . Немало заработал старый Фэн.

Жили мы на островке, где ни подступа, ни выхода: скала на скале и бурун . . .

Здесь я должен прервать передачу рассказа Кузьмина и оговориться,

что именно с этого места мое описание вызывает больше всего сомнений. Это и есть самое темное место; потому что, как только было произнесено слово «бурун», — я сразу увидел его: белый, пенистый, он дыбился у черных камней и с шипением отбрасывал мириады брызг . . . Не то чтобы очень ясно увидел, а так, все вместе: тут и больничная палата, и Кузьмин в белом одеянии с красным пятном, расплывшимся еще шире, тут и — море . . .

И Кузьмин продолжал тихо нашептывать свой рассказ, но его слова, как облочки, заключающие в себе мысль, совершенно перестали существовать: мне передавались не их звуковые формы, а только голые мысли, которые тут же, в моем воображении, становились достоянием чувств . . .

Если существуют боги, то именно так они должны разговаривать! Рядом с первым буруном вырос второй, третий — целая линия их кипела, взмывая то выше, то ниже . . .

А из щели в скалах-островках показалась девушка. Если бы кому-нибудь вздумалось запечатлеть ее на фотопленку, он получил бы ничего не говорящее лицо с довольно неправильными чертами, потому что красота его заключалась в красках, в необычайно удачном сочетании тонов: синие глаза под чернейшими бровями и румянец, постоянно спорящий на щеках за преобладание с цветом старой слоновой кости; смеющийся яркий рот и зубы — стылая полоска морской пены.

Девушка лукаво смеялась и там, где тише игра волн у черных камней, где волна, утратившая ярость, выгибает свою вогнутую спину, — там она легла в воду и спрятала черную шапку волос у мокрого камня.

— Миами! Миами! — озабоченно кричал Кузьмин, появившись на берегу лишь секунду спустя после того, как девушка спряталась. Видно, он долго и быстро бежал, — запыхался. Он обыскал берег, недоуменно постоял и, рассердившись, повернулся, чтобы идти назад.

В эту секунду Миами точно выстрелило из воды: одним прыжком она очутилась на шее уходящего.

— Ах ты, чумазый бесенок! — Кузьмин покрывает поцелуями все ее мокрое тело, и они оба смеются, смеются . . .

— Не уйдешь теперь в город? — дразнище спрашивает она. — Может быть, ты хочешь на родину, в страну ветров, которые дуют зимою и приносят холод?

— Зачем я пойду? — говорит он. — Ты — моя страна ветров; в тебе и холод и жар: ты претворяешь жизнь в сказку и делаешь ее короткой, как пальчик на твоей ноге!

— За это — поцелуй его! А, знаешь — я боюсь: у меня будет ребеночек — маленький-маленький, и ты полюбишь его . . . И меньше будешь ласкать меня.

— А-ха-ха! Разве меньше любят смоковницу за то, что она приносит плоды? — засмеялся Кузьмин и, подхватив ее на руки, скрылся в щели.

Забило море, а на гребешках волн вспыхивали и гасли уходящие дни. Вереницами огоньков спрыгивали они по скалам и уходили в пучину.

Самый последний из них перепрыгнул бурун и, мерцая одиноким оком вдали, еще плясал по волнам, когда в море показалась лодка. Она приближалась, будто в глубокой нерешительности: останавливалась, иногда поворачивала нос обратно в море, — а то вдруг, чуть ли не скачками, шла к берегу, для того чтобы опять бессильно закачаться на зыби.

— Скверная лодка, скверная . . . — сказал бы всякий моряк, увидев

ее, потому что именно в таких лодках прибывают плохие вести или что-нибудь вроде людей при последнем издыхании, или — вовсе без них . . .

Когда выплыла луна и пошла сыпать блестками по гребешкам зыби, лодка была уже около бурунов и юркнула между ними против описанной уже щели.

Из суденышка показалась сперва голова человека, который дико таращил глаза во все стороны, а потом и весь человек — Кузьмин. На нем была только половина рубашки и кое-что от брюк.

Ему потребовался изрядный промежуток времени, чтобы выбраться из лодки и проползти на четвереньках расстояние, отделявшее лодку от щели. Там он припал к свежей воде, которая каплями сочилась по камням и стекала в углубление в скалах, — и пил. Это его так оживило, что он сел и выругался крепким трехэтажным словом . . .

— Отгулял старый пес Фэн: ищи теперь катер на дне моря!

Посидев еще, он, пошатываясь, отправился к лодке и вытащил оттуда что-то сморщенное и невероятно высохшее. Это был Фэн-Сюэ, хозяин крупного моторного катера, почти месяц тому назад пущенного ко дну удачным выстрелом.

Притащив полуживого старика к тем же колдобинам, Кузьмин положил его на землю.

— Лакай воду, говорят тебе! Кабы не я, давно бы соленой налакался!

Кузьмин был зол: из-за неудачного плавания, кончившегося трагически, он был целый месяц оторван от Миами, как раз, когда он больше хотел быть около нее, — она ожидала ребенка.

Только вдвоем со старым Фэном они спаслись и благодаря туману ушли в открытое море, где и блуждали, приставая к пустынным островам и питаясь бог весть чем.

Теперь они были дома, и им предстояло возвращение в деревушку, куда они придут вестниками беды.

Когда это соображение пришло в голову Кузьмина, он смягчился: чем виноват старый человек, что счастье изменило? И разве его самого не ждет беззаботный смех, смех и ласка, от которых дни становятся часами, а часы — минутами? Он бережно поставил напившегося уже старика на ноги и, собрав весь остаток сил, двинулся в путь.

Скоро псы залаяли на окраине деревушки, и навстречу спасшимся вышла первая женщина.

При свете луны она узнала обоих плетущихся мужчин и уставилась на них:

— Где мой муж?

Старый Фэн пошевелил беззубым ртом и промолчал.

— Он ушел на запад! — вместо него ответил Кузьмин традиционной фразой туземцев, означающей смерть.

— А Ю-мин, Цен-Жень и кривой Гао-Лу? — спросил из темноты другой голос, и рядом с первой женщиной вынырнула другая.

— Кроме нас — все ушли!

Как крик ночной птицы, — скорбный звук сорвался с губ женщин. Как тени, они обе шмыгнули вперед, и скоро все дворы огласились криками.

— Они все . . . все ушли на запад!

По пути медленно двигавшихся Кузьмина и Фэна зажигались огни в окнах, и все громче стали раздаваться говор и плач.

«Да, и на севере, и на юге любят одинаково», — скорбно думал Кузьмин, шествуя вперед среди толпы высыпавших отовсюду обитателей деревушки. На всех лицах он видел горе: оно шествовало вместе с ним

и всюду будило эхо. Единственное место, куда оно, может быть, не заглядывало, было сердце старого пирата и контрабандиста Фэна; он знал цену победе и поражению, но, по старости лет, стал терять вкус к первой и огорчение от второй: великое равнодушие познавшего все царило в нем.

Кузьмин с удивлением и тревогой оглядывался, не видя Миами. Вот она выбежит навстречу и, может быть, — даже с ребенком?

На полдороге он втолкнул Фэна в чьи-то дюжие руки и помчался сколько хватало силы вперед, к своей хижине.

Старая няня Лао-ма спала у самого порога, а Миами не было.

— Где? . . . Где моя жена?! — заревел он на испуганную старушку.

Лао-ма нагнула лысую на макушке голову и, шепелявя языком, быстрым в радости, но неповоротливым в несчастье, заговорила так, будто не она говорит, а шепчут углы и темень опустошенного жилища:

— Умерла во время родов . . . Умерла и похоронена вместе с мальчиком; неживой родился . . .

И тогда вдруг Кузьмин почувствовал, что у него не осталось сил ни капельки, что он так устал, так устал, что — черт возьми! — совсем нельзя устоять на ногах.

Духовидец и колдун деревушки стучался в дверь хижины, в которой жил Кузьмин. Лао-ма сегодня утром отнесла колдуну серебряные доллары и сказала, что господин хочет с ним поговорить.

В каждом селении островков, пожалуй, найдется такой колдун, потому что даже в самой немудрящей жизни человек сталкивается с вопросами, где его опыт недостаточен. Тут на помощь приходит древняя мудрость. Ее вопрошает поверженный в несчастье и получает точные и исчерпывающие ответы, присоединив которые к своей детской вере он начинает чувствовать себя сравнительно сносно. Его же просвещенный собрат в подобных случаях стучается лбом о стену собственного неверия и, в большинстве случаев, оставляет коротенькую записку: «В смерти моей прошу никого не винить».

Колдуну отворили. Ему навстречу поднялся Кузьмин.

— Говорят, что ты можешь заставить духов говорить твоими устами . . . Правда ли это?

— Если это будет неправда, я возвращу господину подарки!

— Так вызови мне Миами, мою жену: мне нужно с нею поговорить, — понимаешь?

Тут нечего было понимать. Колдун посчитал, сколько дней прошло со дня смерти; по его расчетам — дух еще был здесь. Он попросил оставить его одного на четверть часа в комнате, а потом — пусть господин приходит к нему и спрашивает . . .

Еще он распорядился завесить окно и стал вытаскивать какие-то принадлежности.

— Чертова кукла! . . . — пробормотал сквозь зубы Кузьмин и вышел в таком состоянии, как никогда, — ему было стыдно и невыразимо противно . . .

Когда он вернулся назад, то разглядел духовидца лежащим на полу, с укутанной в черную материю головой. Он спал.

— Миами! — тихо прошептал Кузьмин и в тот же момент ощутил, что воздух вокруг него задрожал, точно проснулся смех маленькой Миами.

— Я здесь! Я знала, что ты придешь . . . Я все время здесь, — сказал голос с дрожащими нотами, и Кузьмин мог поклясться, что это голос его

жены. Но откуда в прокуренной глотке колдуна мог взяться этот неподражаемый голос? . . .

— Ты все боишься . . . не веришь, великан из страны ветров, — опять смехом засеребрился голос, — а я . . . я должна тебя поблагодарить, что ты так чтишь память: у тебя ведь в кармане лоскут кровавой материи, которая была на мне в час смерти.

Дрожь пронизала Кузьмина от затылка до пяток: да, он нашел этот кусок материи, спрятал его в карман, и об этом никто не знал.

— Слушай, Миами! — начал он прерывающимся голосом. — Скажи мне, можем ли мы хоть когда-нибудь встретиться? Есть ли «там» что-нибудь?

— Я сейчас узнаю . . . Подожди . . . Да, встретимся через пять дней, считая от сегодняшнего утра, на рассвете . . . Жди!

В этот самый момент колдун начал усиленно дышать, его грудь заходила, как кузнечный мех, и он заворочался: сеанс подошел к концу.

Исчезла из моих глаз хижина, исчез островок и исчезло море. Я увидел опять только больничную палату и сидящего на моей кровати Кузьмина, он рисовался неясно — наподобие мягкофокусных снимков, в каком-то туманном озарении. Слабый рассвет струился в окно, и в его мягком освещении я видел, что Кузьмин улыбается.

И вдруг я услышал, что с веранды, за окном, донесся смех Миами . . . Задорный, с буйной ноткой радости женский смех! Он приближался . . .

И Кузьмин тоже засмеялся — два голоса слились в одно.

Всю больничную палату наполнил смех — ликующий, буйный и беззаботный, как песни ветров мирового простора, победно звучащий смех, колокольчиками рассыпающийся, звенящий, торжественный, над смертью издевающийся смех . . .

Что-то грохнуло об пол, что-то разбилось со звоном на столике, — в палату вбежала перепуганная сиделка . . .

Кузьмина я больше не видел и устало сомкнул веки.

Я опять на ногах и, — как говорит Н. Рерих в «Цветях Мори»: «с сумою несчастья иду скитаться и завоевывать мир».

При уходе из больницы я зашел в канцелярию, справиться о Кузьмине.

Мне подтвердили, что действительно такой находился в больнице и умер в памятную мне ночь.

Кроме того, мне дали понять, что в лице Кузьмина я обзавелся плохим знакомством: на второй день после его смерти пришел полицейский инспектор и заявил, что у него имеются все данные, подтвержденные донесениями с мест, чтобы считать Кузьмина членом опасной шайки прибрежных контрабандистов.

Но я ушел с легкой душой и насвистывая марш, — с забытым названием, но бодрящий, — потому что я знал:

— В этом мире, кроме коммерции, есть что-то еще!

ЧЕРНАЯ ПАЛАТКА

В ту ночь я никак не мог заснуть . . . Я весь был под впечатлением неожиданной встречи, взбудоражен ею до крайности, и мои нервы вибрировали, индуктированные нахлынувшим эхом прошлых событий, которые теперь угрожали самому дорогому в моей жизни. Мысли мои

тщательно обходили спасительное озеро сна и уподоблялись табуна охваченных в ночную грозу томительным страхом лошадей, которые при фиолетовых вспышках, озаряющих дымные клубы туч, стараются забиться в самую середину табуна, толкают друг друга и тревожно перебегают с места на место . . .

Надо сказать, что эта неприятная встреча, хотя и была совершенно неожиданной, все-таки не застала меня врасплох. Благодаря своей нервности я обладаю странным свойством: как только в моем воображении начинается вырисовываться чье-либо лицо, я уже знаю, что скоро увижу его обладателя.

Так было и на этот раз . . . Вчера, когда я заносил в гроссбух какую-то фактуру, предо мною ясно всплыло лицо сотника Гамбалова — широкое, скуластое, с немного косо поставленными глазами, которые способны с одинаковым равнодушием взирать на улыбку ребенка и на корчи только что зарезанного человека . . .

«С чего это мне чудятся мертвецы?» — подумал я и сразу как-то насторожился, припоминая, как упорно эти немного косые глаза следили во время гражданской войны за Ирой . . .

Когда после закрытия конторы на обеденный перерыв я вышел на улицу, — я опять почувствовал на себе тот же тяжелый, как рука мертвеца, взгляд. Обернувшись, я увидел Гамбалова. Неуклюжий, неповоротливый, немножко подавшись вперед, он стоял на своих искривленных верховою ездой ногах и смотрел на меня. Не в глаза, а куда-то в живот, — он никогда не смотрел прямо в глаза человеку.

В те несколько мгновений, пока мы молчаливо рассматривали друг друга, в моей голове заколыхались видения бескрайней азиатской степи и биваки сумасшедшего полководца Унгерн фон Штернберга, который мнил себя воплощением ламаитского бога войны и вел за собою ожесточеннейших воинов, в чьих душах не было ни страха перед смертью, ни колебания, а лишь дерзкая отвага все потерявших людей.

И в списках этого полководца — я сам это видел, ибо тоже служил в тех же войсках, — в рубрике мертвых значились две фамилии: сотника Гамбалова и капитана Ахшарумова.

Вдова последнего теперь была моей женой . . . И мне хорошо было известно, что Гамбалов только потому подобно тени всегда держался около Ахшарумова, только потому превращал жизнь его в беспробудное пьянство и толкал капитана на самые рискованные предприятия, что пламенно желал его смерти, чтобы жениться на овдовевшей Ире. И даже тот сумасбродный налет на занятый красными ламаитский монастырь, откуда не вернулся никто из нападавших, ибо отряд попал в засаду, — и тот налет был затеян благодаря влиянию Гамбалова . . .

И теперь я спрашивал себя:

«Если Гамбалов всегда был тенью Ахшарумова, то не здесь ли тот, кто отбрасывал эту тень?»

Бледный фантом моего расстроенного семейного счастья бесшумно вырастал за спиной Гамбалова.

Но следовало что-то сказать . . .

— Гамбалов! — воскликнул я. — Как я рад тебя видеть! Разве тебя не убили вместе с Ахшарумовым?

Вопрос был глупым, но он выражал именно то, что было у меня на душе; страх потерять Иру и эгоистическое сожаление, что капитан, может быть, жив . . .

— Нет, — медленно ответил Гамбалов и посмотрел на дамские туфельки в витрине.

— А где Ахшарумов? Он тоже жив? — спросил я, содрогаясь от нетерпения.

Гамбалов нарочно медлил с ответом: он понял мое состояние и ему доставляло радость продлить мое мучительное беспокойство.

— Не знаю, — пожал он плечами. — Во всяком случае, он спасся из засады и мы расстались живыми.

— Но ты должен мне рассказать! . . . Понимаешь, — рассказать, где вы с ним расстались! — кричал я и, схватив за руку, потащил его в ближайший скверик на скамейку.

Гамбалов покорно следовал за мной, но я видел, что он наслаждался моим беспокойством и волнением со сладострастием садиста.

Он заговорил. Но, Боже, — разве этого ожидал я от него?!

Да . . . понятно, он не может знать, где теперь Ахшарумов. Может быть, тот уже успел умереть, так как страшно пьянствовал, а водка до добра не доводит. Потому он, Гамбалов, и старался всячески удерживать своего друга от пьянства. А может быть, Ахшарумов здесь и разыскивает свою жену, которую очень любил. Почему знать! . . .

При этих словах Гамбалов шумно вздохнул, развел руками и оглянулся кругом с таким видом, точно он ничуть не будет удивлен, если бывшему мужу моей жены вздумается появиться на другом конце сквера . . .

И тогда вдруг я понял, что этот человек знает все, но никогда не скажет, потому что ненавидит меня всей душой и хочет, чтобы я постоянно дрожал над своим счастьем в ожидании того, кто имел право на мою жену.

Капитан, может быть, и не потребует ее обратно, — из этого ничего не вышло бы, — но бледной тенью, усталой походкой придет и сядет за мой семейный стол живым укором . . . Все мы будем неловко молчать . . .

А может быть, он, грязный, опустившийся, будет дружески разговаривать со мною, хихикать и выпрашивать деньги на водку . . . Ира будет страдать от мучительной жалости и фальши, — он ведь был ей неплохим мужем. А больше всех буду страдать я . . . от дикой ревности к прошлому Иры, когда она принадлежала этому человеку . . .

О, ужас! Ужас! . . . Каждый стук в дверь заставит меня насторожиться!

— Ну, да если тебя, — заканчивал свою роль Гамбалов, — так интересуется судьба Ахшарумова, то я, как только получу какие-нибудь сведения о нем, — тотчас сообщу тебе. Впрочем, как ты можешь не интересоваться . . . — тут он улыбнулся почти ласково, — ведь Ирина Николаевна, сколько мне известно, живет у тебя! . . .

Мы расстались. Возвращаясь в контору, я поклялся в душе ни слова не говорить Ире об этой встрече: достаточно, что я один буду сгибаться под гнетом тревог и сомнений.

Вот почему я, вернувшись домой, был молчалив и почти не разговаривал с Ирой. Она удивлялась моему состоянию и участливо спрашивала, не было ли у меня каких-нибудь неприятностей по службе. Мне пришлось сослаться на головную боль.

Ира рано легла спать. Я сделал то же, но — как я уже говорил — заснуть не мог.

Могло быть около двенадцати часов, когда у меня внезапно созрело решение пойти к Гамбалову и заставить его говорить правду, — даже если бы для этого пришлось взять его за горло . . .

Необыкновенно быстро я очутился на улице и ничуть не был удивлен, что мне не пришлось звать сторожа, чтобы открыть железные ворота, которые у нас запираются в одиннадцать часов вечера, так как дом стоит на окраине и из жильцов редко кто возвращается позже.

Теперь, когда я все это описываю при спокойном свете дня, я поражаюсь и другим странностям этого ночного путешествия, которые тогда совсем меня не удивляли. Например, очутившись на улице, я вовсе не пошел в отель, где остановился Гамбалов, а двинулся в совершенно противоположном направлении, в полной уверенности, что застану его не в отеле, а в другом месте . . . Я не могу сказать, что я шел в буквальном смысле этого слова; вернее будет сказать: я двигался каким-то неопределенным и непонятным для меня способом; однако ничуть не задумываясь над этим.

Город остался позади и, как ни странно, снег тонкой пеленой лежал на полях, хотя происшествие разыгралось летом. Но, как я уже сказал, ничто меня не удивляло, и явления, которые в обыкновенных условиях показались бы мне весьма важными, на этот раз совершенно не привлекали моего внимания.

Степь, беспомощно распластавшаяся под моими ногами, бесшумно ускользала назад, кое-где стали попадаться возвышенности, отроги гор и ущелья со слабой, запорошенной снегом растительностью, а я все продолжал двигаться вперед — именно двигаться, а не идти.

Так продолжалось до тех пор, пока я не увидел на дне ущелья еле бредущих, страшно усталых коней со всадниками.

Гамбалов был среди них; я ясно услышал его голос.

— Проводник говорит, что за поворотом будет стойбище тангутов.

— Это еще что за проклятое племя?! Название звучит, как удары похоронного колокола! — сказал другой всадник, и я узнал голос Ахшарумова. Через несколько секунд он добавил еще несколько слов, и адская усталость прозвучала в его голосе: — Мне холодно, Гамбалов . . . Я предпочел бы лечь и никуда больше не двигаться: не все ли равно, — умереть немножко раньше или немножко позже!

— Ты озяб и голоден, — сказал Гамбалов, — оттого и хнычешь; доберемся до стойбища, и я дам тебе спирту.

Ахшарумов тихо, еле слышно прошептал:

— Я знаю, — в этом ты никогда мне не откажешь . . .

Гамбалов молчал, и я удивлялся, почему они не замечают меня; я уже двигался среди них, между их коней.

Достигли поворота, и, по-видимому, там действительно находилось чье-то стойбище; на белом снегу пологого внизу склона нашим глазам открылась громадная черная палатка; приплюснутая к белому снегу, с изогнувшейся на шестах материей, она напоминала гигантскую летучую мышь, — эмблему ночи и волхвований средневековья.

Заговорил молчавший до сих пор проводник в глубоко надвинутом на глаза малахее: непонятные гортанные звуки глухо зазвучали в ущелье, и Гамбалов тотчас же перевел Ахшарумову смысл его речи.

— Стойбище покинуто: если бы там были люди, — собаки давно бы учуяли нас! Не иначе как война между племенами, если только тут не было разбойников, которые теперь рыскают везде.

— Как всегда, — глухо пробормотал Ахшарумов, — разорение и смерть всюду . . . Уже сколько лет!

Когда мы приблизились к палатке вплотную, — ветер сорвался с горы, слабо натянутые полотнища захлопали, как крылья, и закачался подвешенный на шесте над входом какой-то лоскут — точь-в-точь голова пригвожденной к земле птицы закивала во все стороны.

— Ясно: палатка покинута во время спешного бегства, — сказал Гамбалов, рассматривая утоптаный снег с бесчисленными следами людей и животных. — Разведи-ка огонь! — обратился он к Ахшарумову.

Сам же он с проводником отправился развьючивать лошадей.

Я наблюдал, как Ахшарумов сгреб кучу сушеного аргала и чиркнул спичкою, — она осветила почти неузнаваемое лицо: обработанное всеми ветрами пустыни, оно шелушилось, было невероятно худое и заостренное . . . Спичка прыгала вместе с рукою, ее держащей, и ему понадобилось их чуть не полкоробка, чтобы разжечь костер. Потом он сел у огня и застыл не шевелясь.

Явились Гамбалов и проводник.

— Дай мне спирту! — было первое, что сказал Ахшарумов.

Гамбалов вытаскил из кармана небольшую жестяную флягу.

— Тебе следовало бы сперва поест! — сказал Гамбалов, передавая посудину.

— Надоело мне есть, двигаться . . . Все надоело! . . . — тихо произнес Ахшарумов, прикладывая флягу к губам.

Почти в тот же момент глаза его странно заблестели, и он воскликнул:

— Наконец-то!

— Что? . . . Что «наконец»? — смутившись, спросил Гамбалов, и мне показалось, что он изменился в лице.

— Наконец-то ты подсыпал мне яду! Собрался с духом человек! — захохотал Ахшарумов.

Гамбалов молчал.

— Я давно знал, что ты хочешь избавиться от меня, — продолжал Ахшарумов, — и удивлялся, чего ты тянешь . . . Ведь это один смех, — он презрительно захохотал, — человек, который убивал направо и налево, никак не мог собраться с силой отправить на тот свет старого приятеля! Хотя . . . — Тут Ахшарумов стал задумчив. — Может быть, и для тебя есть предел: неприятно все-таки, отравив мужа, свататься к его жене . . . ха-ха-ха!

Гамбалов быстро вскочил, собираясь выйти из палатки, но Ахшарумов с неожиданной для него быстротой схватил его за руку.

— Как? — вскричал он. — Ты собираешься покинуть старого товарища в такую минуту, когда, можно сказать, ему отверзаются врата рая? Не ожидал, не ожидал! . . . — Он укоризненно качал головой, в то же время цепко держась за руку Гамбалова. — Я, конечно, понимаю, — продолжал он, — что тебе того . . . неприятно, даже противно . . . но я хочу тебя утешить: как-никак — ты мне друг . . . Не смущайся . . . Мне все равно нечего было делать на этом свете, и если бы ты не поторопился, — я сам бы пустил себе пулю в лоб . . . Для чего жить? . . . Ира, ты сам знаешь, вышла за меня, потому что ей, по существу, другого выхода не оставалось: родители разорены в пух и прах . . . беженский эшелон . . . старики хотят кушать, а у меня — хоть пайки из офицерского собрания! . . . На что мне теперь Ира? Унгерн разбит, и, наверное, уже расстрелян, война кончилась . . . Неужели мне выбирать в заграничные города, чтобы чистить на улице ботинки спекулянтам? . . . Да еще с осколком в печени! Тьфу! . . . А все-таки твоё зелье быстро действует. — Он поморщился от внезапно нахлынувшей боли. — Ты, наверное, много насыпал . . . Вот что . . . надо поторопиться сказать: ты — большая дрянь и, во всяком случае, не муж Ире! Она найдет другого, получше . . . И если ты, дрянь, попытаешься приблизиться к ней или смущать ее покой, — то будешь убит! Я . . . я . . . Вон! Уходи! — И он, выпустив руки Гамбалова, упал и со стоном начал кататься по земле.

Я шагнул вперед, и у меня в этот момент было единственное желание, в котором, точно в фокусе, сосредоточилась вся моя сила воли: я не хотел ничего другого из всех радостей мира, как только нанести сокрушительный удар Гамбалову, такой удар, в который мог бы вложить всю

ненависть к этому человеку, которая охватила меня, как пожаром, при виде его гнусности.

Но он бросился бежать — от меня или от чего-то другого, я не знаю!

Мне казалось, что на бегу мы перепрыгиваем пропасти и горы, равнины и озера... Вдали уже заблестели огни города, — и тут я его настиг... и ударил...

И тогда я ощутил облегчение, какое, надо полагать, испытывает пушка, когда из нее выстрелят.

И почти в тот же момент я с удивлением заметил, что лежу в своей комнате, на собственной кровати, часы показывают половину первого, а рядом спит Ира.

Я ощущал невероятную усталость во всем теле и после этого уснул и спал без сновидений.

Значит, это был сон? — подумал каждый, прочтя эти строки, и я ничуть не намерен возражать. Но во всем этом есть темное и непонятное место.

На другой день я прочитал в газете:

«В отеле «Эксцельсьор», в половине первого ночи, вошедшим на звонок лакеем обнаружен лежащим на полу без признаков жизни недавно приехавший в наш город коммерсант Гамбалов. Врач выразил мнение, что смерть наступила от сильного сотрясения мозга с последующим в него кровоизлиянием. Полагают, что умерший случайно упал и, падая, ударился об острый выступ камина...»

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Как живы и прочны детские воспоминания. Мне скоро исполнится сто лет, но я по-прежнему помню во всех деталях бревенчатый домик с пристроенной к нему кузницею, расположенной у самой дороги, по которой то и дело проезжали крестьянские подводы и проносились кареты помещиков.

А в ста шагах от этого домика находилась корчма «Адлер». Такое название красовалось на ее вывеске, а местное население называло ее «Адал-кросс». По другую сторону моего домика, всего в 20 шагах от него, начинался смешанный лес. Лес, скрывающий какую-то волнующую и очень приятную для меня тайну, которую я пытался разгадать, углубляясь в него по мере того, как возрастал. Лес, который моя фантазия населяла всеми персонажами прочитанных сказок.

В домике одна из комнат была оборудована под слесарную мастерскую. В ней работал мой отец, занимавшийся ремонтом различных машин и приборов более мелкого калибра. Отец арендовал земельный участок, на котором развел крестьянское хозяйство.

На лето для полевых работ нанимали батрака.

Хозяйством, в котором имелась лошадь, несколько коров, овец и прочей живности, управляла моя мать. Изумительная женщина, о которой я всегда вспоминаю с благоговением. Ласковая, добрая, с раннего утра до позднего вечера всегда в движении, в труде. С руками в мозолях и трещинах, она не огрубела от тяжелой работы, но сохранила светлую устремленность ко благу и красоте. Каждую весну она находила силы и время, чтобы насажать большие клумбы цветов. Она любила природу, любила животных.

Помню, как она позвала меня, еще маленького, на луг и, раскрыв ладонями высокую траву, показала мне птичье гнездышко, полное маленьких пестреньких яичек. Они были восхитительно красивы, но мать, прежде чем показать, взяла с меня слово, что я не буду дотрагиваться до гнезда, не буду дышать на него, иначе птичка-мать не вернется на гнездо, бросит его.

Не могу не упомянуть одного друга моего детства. Это была собака: коротконогая такса. Мы с братом спали на одной кровати, а такса любила на ночь забираться к нам в постель и спать у нас в ногах. Заметившая это

мать категорически воспротивилась такой повадке собаки и сбрасывала ее с кровати, но хитрая такса, спавшая где-нибудь в уголке, дождалась, пока все обитатели комнаты не заснут, а потом спокойно переползала к нам на кровать.

Мои отец и мать прожили долгую трудовую жизнь. Всегда в полном согласии, всегда советуясь перед каждым важным шагом. Отравленный развратом и пороками мир скользил перед их глазами, не касаясь и не волнуя их, чистых и устремленных ко благу. И оба они любили музыку. Отец участвовал в любительском оркестре духовых инструментов. Оркестр с начищенными трубами участвовал в сельских празднествах и торжественных похоронах.

Возвращаясь с сыгровки (у сельского учителя) воскресным летним вечером, оркестр останавливался на холме, где с одной стороны царственно-спокойно и величаво, точно задумавшись, стоял лес, а с другой простиралась холмистая даль с колосющимися под дуновением ветра серебристыми нивами, где все золотилось в вечерних лучах.

И тут оркестр играл какой-нибудь торжественный лютеранский хорал. Красота звука сливалась с красотой Природы: еще краше отдавали серебром перекатывающиеся с края на край волны ржи; еще торжественнее и величавей становился лес и сами музыканты, прислушиваясь к своей игре и радуясь великой радостью, что так хорошо у них получается.

Жизнь разметала музыкантов. Я и мои родители очутились в Верхневолжье и жили в домике на самом берегу Волги, которая там вытекает из озера Пено.

В то время у моего отца уже не было басовой трубы (ее украл казак из карательного отряда в 1905 году). Отец приобрел корнет, а мать гармонику.

Оба они садились на берегу Волги и играли излюбленные ими лютеранские хоралы, а мать пела, одновременно аккомпанируя себе на гармонике, отец играл на корнете. Получалось что-то вроде небольшого оркестра, и звуки далеко разносились по Волге. Их любовь к музыке, а вернее говоря, к той красоте, которую несут в себе гармоничные звуки, выразилась несколько необычно даже в смертный час, когда после тяжелой болезни умирал мой

отец. Вокруг собрались близкие, а мать стояла у изголовья умирающего, и вдруг последний внятно произнес:

— Я слышу пение. — И, обратив гаснущий взор к жене, сказал: — Пой и ты.

И мать запела. Может быть, никогда в своей жизни она не вкладывала столько чувства, столько любви, как в эти последние минуты. И под пение моей матери скоро и тихо отошел отец.

Я горжусь своими родителями, они подошли к вратам смерти с пением.

Первым моим учителем была моя мать. Не помню точно, сколько мне было лет, когда мать начала обучать чтению и письму. И тем и другим я овладел с поразительной легкостью, даже изумил свою мать. Смешно сказать, но едва начав выводить детские каракули, я уже мечтал стать писателем.

Местный учитель, время от времени посещавший моего отца, говорил ему, что у меня прекрасные способности и что мне надо дать хорошее образование.

Школьные годы оставили во мне воспоминания, полные признательности и уважения к латвийским учителям моего времени. Это были многосторонне образованные люди, которые умело справлялись не только со своими педагогическими обязанностями, но и старались повышать культурный уровень населения, устраивая любительские хоры певчих.

Из моих школьных товарищей незабываемо запечатлелся в моей памяти черноволосый красивый мальчик, с которым я сидел рядом за одной партой. Мы оба учились на пятерки и стали первыми учениками в школе. Из всех предметов мы оба больше всего любили сочинения, в которых старались перешеголять друг друга. Чтобы не обидеть никого из нас, учителя ставили нам обоим одинаковые отметки.

Почему я здесь уделяю внимание такому незначительному факту? А потому, что на моем школьном друге жизнь впоследствии показала, насколько нелепо и трагично может оборваться человеческая жизнь.

Дело было в 1905 году, когда волна крестьянских волнений прокатилась по Латвии, когда на ночном небе стали появляться зарева пожаров — то горели помещичьи усадьбы немецких баронов. И, конечно, на сцене появились карательные отряды, обычно со-

стоявшие из сотни или полусотни казаков. Они, в свою очередь, жгли дома провинившихся крестьян и применяли телесные наказания.

В мирное время для меня и моего школьного друга прохождение отряда казаков с колышавшимися пиками всегда было волнующим зрелищем. Мы считали казаков героями, способными на великие боевые подвиги, и поэтому восхищались ими. Только этим можно объяснить, что в 1905 году, в годы смуты, мой школьный товарищ, увидев издали приближающийся отряд казаков, вышел на пригорок, чтобы лучше и ближе рассмотреть их, и тогда один из казаков вскинул винтовку и метким выстрелом убил мальчика наповал.

Как только я научился читать, я стал испытывать неумную жажду чтения. Прочитал все книги, какие были дома и у соседей. За неимением других книг, прочитал бабушкину Библию от корки до корки. Признаться, что особенного толка от этого чтения не было. В Библии меня интересовала не ее философия, а приключенческая часть, касающаяся походов царя Давида и прочих воинствующих персонажей. Тем не менее, это чтение вооружило меня знаниями, очень пригодившимися мне, когда я вступал в религиозные дискуссии со взрослыми.

С удивительной легкостью я овладел русским языком. Прочувшись первую зиму, я мог овладеть начатками языка, но нехватка книг заставила меня просить у учителя позволения пользоваться школьной библиотечкой, очень маленькой, но состоявшей из произведений Гоголя, Некрасова, Пушкина и еще некоторых классиков.

Помню, прочитав первую книгу из этой библиотеки, я почти ничего не понял, но я храбро взялся за вторую, третью и т. д. и удивительным образом, не имея словаря, стал вскоре понимать прочитанное. Этот факт я объясняю тем, что в своих прошлых жизнях я был русским и теперь этот язык просто припомнился. Но образы прочитанного завладели моим сознанием навсегда.

Героические персонажи Гоголя и Лермонтова постоянно присутствовали в моем мышлении. Даже часть пастбища, где я пас стадо моего отца и соседей, я назвал — по лермонтовской поэме — аулом Бастунджи.

Школьные годы закончились, и пре-

до мною встал вопрос: кем быть? Это был тяжелый вопрос, так как мой старший брат Ян наотрез отказался изучать отцовское ремесло. Взоры родителей обратились на меня, как на единственного наследника хорошо оборудованной отцовской мастерской и продолжателя его дела. Но у меня не было ни малейшего влечения к отцовскому ремеслу. Я был мечтателем, с головой, полной грез о далеких путешествиях, приключениях, героических деяниях.

Дали, дали неизведанные влекли меня, и в то время мне было жаль отца и мать, которые не могли осуществить такого естественного для них желания, как передать сыну отцовское дело. По истечении некоторого времени, прислушиваясь к разумным доводам родителей, я, наконец, скрепя сердце согласился заниматься отцовским ремеслом. Но это было вынужденное согласие, и поэтому бывали случаи, что руки мои делали одно, а мечты летели далеко, и в результате получалась испорченная работа.

В кузнице обычно работал подмастерье, подковывал лошадей и производил поковки, требующиеся в крестьянском хозяйстве.

Чтобы успешнее работать, подмастерье нуждался в помощнике — молотобойце, который раздувает меха горна. Таким помощником стал я. Железо, прежде чем ковать, надо нагреть в горне докрасна. На это требуется время, которое оба работника заполняли разговорами. Подмастерье в этих случаях просил рассказывать ему что-нибудь из прочитанного мною. Я сперва честно выполнял его просьбу, но при этом пришел к заключению, что гораздо интереснее вместо прочитанного рассказывать собственные выдумки. Итак, в промежутках между ударами молота по раскаленному железу я плел романы, которые тут же на месте выдумывал. В этом сказалась безусловно прирожденная способность к писательству.

Я подрастал, становился юношей, и в то же время рос разлад в моей душе. Все острее я стал сознавать, что занимаюсь не тем делом, ради которого пришел в этот мир. Окружающая жизнь стала казаться слишком ограниченной, интересы слишком мелкими, сводящимися к накапливанию денег.

В окружающей природе не было ничего величественно-увлекательного, а

мне хотелось широких пространств, в небо уходящих крутых гор, океанских просторов. С детских лет меня привлекала Сибирь, как страна неизведанных тайн и великих возможностей.

Так шло до одного зимнего воскресного вечера, когда неожиданно к нам приехал дядя (по материнской линии) Карл. Он рассказал нам, что заключил выгодный контракт с рижскими экспортёрами леса на распиловку громадного количества бревен в Тверской губернии. Для этого он будет строить там лесопильный завод, для постройки которого и работы в нем он приглашает всю нашу семью. Предполагаемая им оплата труда значительно превышала доходы, приносимые нашей мастерской. И мы все согласились. Я ликовал. В предложении дяди я учуял начало другой жизни, волнующей и ведущей в неизведанные дали.

Мне тогда было 16 лет. Когда настал день отъезда, я не испытывал ни малейшей грусти, расставаясь с местом, где провел детство. Скорее наоборот, навряд ли найдется человек, кроме меня, который с большей радостью покидал свою родину.

В калейдоскопе событий моей жизни фигурирует пребывание на Западном фронте в течение всей первой мировой войны; участие в революции; женитьба; тщетные попытки создать себе мирное существование на Дальнем Востоке; эмиграция в Китай; литературная деятельность; преподавание в двух высших китайских учебных заведениях; переселение в Шанхай; возвращение в Советский Союз; арест и годы заключения; освобождение и пребывание в Казахстане; переселение на Алтай — и в этом калейдоскопе имеет место мое возвра-

щение в Латвию, в родные места в 1956 году.

С сильным волнением приближался я к месту, где провел свое детство. То, что я увидал, причинило мне боль: за сорок с лишним лет моего отсутствия все изменилось; кажется, даже сама земля стала другой. Домик, в котором я вырос, был обращен в хлев, правда животных в нем не было, но он был наполнен навозом на высоту окон. Кузница была снесена, а от материнских цветочных клумб остался какой-то жалкий поломанный кустик. Старый знакомый и любимый мною лес был срублен, и вместо него выросли другие молодые деревья, а бугорки и те возвышенности, которые я раньше называл горами, стали ниже. А речка, в которой я купался в детстве, обмелела, стала уже, превратившись в ручей.

Появились новые дома с новым населением. И никого из живущих там я не знал, и меня никто не знал.

Я долго всматривался в понуро стоявший обветшавший домик, как бы прислушиваясь, не раздастся ли оттуда веселый перезвон молотка и наковальни, и испытывал странную, даже, я бы сказал, сладкую боль. Потом я понял, что иначе и быть не могло, ибо река жизни несет все вперед, в будущее, к новым победам и поражениям, к вечному обновлению, несет в беспредельность.

Мысленно благословив место, где я вступил в сознательную жизнь, я дал себе слово не предаваться воспоминаниям, а идти вперед, вперед, не оглядываясь, в зовущее будущее.

Альфред ХЕЙДОК

г. Змеиногорск, 22 сентября 1989 года

ПОСЛЕДНИЙ РАССКАЗ

Письмо, приложенное к рукописи, было совсем коротеньким: «Уважаемые товарищи, предлагаю вам мой последний рассказ. Прошу сообщить о вашем решении...»

И подпись:

В. Каверин

Рассказ оказался действительно последним, так же как приложенная к нему записка — одним из последних автографов писателя Вениамина Александровича Каверина. Мы публикуем рассказ в том виде, в каком он был получен редакцией; исправлены лишь две-три явные описки.



АВТОПОРТРЕТ

1

Стоял март, а в марте уже трудно найти под Москвой удобную или даже не очень удобную дачу. Часа три Тернавцевы напрасно бродили по зимнему, еще заваленному снегом поселку. Наконец, пообедав у друзей, они простились, направились к станции и на гористой тропинке встретили старика в поношенной матросской шинели, который с трудом тащил тяжелую сумку. Тернавцевы, сердобольные люди, помогли ему. Дорогой разговорились.

— Моряк? — спросил Вадим Николаевич, работавший в годы войны военкором на Балтийском флоте.

— Да.

— Северный Краснознаменный?

— Так точно. Как вы догадались?

— Сам не знаю. Может быть потому, что три с половиной года сам прогулял в такой шинели.

— А почему не четыре с половиной?

— Заболел. Датак, что снялис учета.

— А к нам приехали дачу искать?

— Так точно, — смеясь, ответил Вадим Николаевич.

— Поздно. У нас уже в январе снимают. А многие оставляют с лета.

— Может, вы что-нибудь нам посоветуете. Хоть бы какую-никакую? На два месяца. Мы с женой и внучонок.

Старик подумал.

— Почему не посоветовать? Есть одна. Но вам не подойдет. Хозяин пьет. И безумствует.

— Пьет, это еще куда ни шло. Все пьют. А что значит «безумствует»?

— Находит на него. Мы соседи. Я однажды заглянул к нему. Сидит один в кухне и у кого-то прощения просит. Виденья, что ли, его мучают? Кто его знает?

Вадим Николаевич вопросительно взглянул на жену. Она кивнула.

— А все-таки проводите нас к нему. Хочется снять. У нас тут дружья живут. И поселок хороший. Красивый.

Старик помолчал.

— Проводить-то я провожу. Но не советую.

Тропинка перешла в другую, более широкую, и вскоре они остановились у калитки.

— Здесь мы живем. А он — рядом. Фаилия Ларин. И не говорите, что я послал. Он меня не любит.

Дом Ларина стоял почему-то фасадом к лесу — пройдя через калитку и постучавшись, Тернавцевы оказались в кухне.

У плиты сидел лысый, голый до пояса человек с толстой, как у старой женщины, грудью, ничуть не смутившийся, когда вошли незнакомые люди. Та-

релка с обглоданными костями стояла перед ним на грубом, грязном столе. Впрочем, все было грязно в этой тускло освещенной заходящим солнцем маленькой кухне.

— Здравствуйте. Нам сказали, что здесь можно снять комнаты на лето.

Толстяк помолчал.

— Интересно, — сказал он. — Снять или купить? И, может быть, не на лето, а на всю вашу оставшуюся длинную или короткую жизнь?

Он говорил не без труда, но связно.

— Павел! — вдруг закричал он.

В кухню вошел и вежливо поклонился высокий человек в военной форме — судя по звездочкам на погонах, полковник.

— Павел, интересно. Вот пришла интеллигентная пара. Хотят снять дачу. Вы с ним поговорите, — обратился он к Тернавцевым. — Какой я хозяин! Я скоро умру.

— Простите, — сказал полковник. — Иван Павлович немного... Ну, скажем, болен.

— Не болен, а пьян. И не немного, а в стельку. Это, между прочим, мой брат. И фактически — хозяин. Свой дом я ему завещал.

— На лето сдаются две комнаты с верандой, — сказал полковник. — Там сейчас живут, но скоро уедут. Я узнаю, можно ли посмотреть.

Он вышел. Елена Викентьевна тронула мужа за руку и молча показала на большой портрет в старинной тяжелой раме. Высокий человек в распахнутом на груди халате держал в левой руке свечу, освещавшую снизу его красивое, измученное лицо. Казалось, он шел куда-то, вглядываясь в темноту, протянув вперед руку. Черные волосы слегка вились, огромные усталые глаза глядели задумчиво, с оттенком гордости и страдания.

(Вернувшись в Москву, Тернавцевы вспомнили, кого напомнил им этот портрет. Оба недавно прочитали понравившуюся им книгу Гарви Аллена, посвященную Эдгару По. Так же как на его портретах, и на этом пронизательный взгляд мог бы прочитать печальную судьбу и несмирившуюся гордость.)

— Простите... Не скажете ли вы, кому принадлежит этот портрет?

— В каком смысле принадлежит? — равнодушно спросил толстяк. — Если в материальном — мне. А если в смыс-

ле работы, тоже мне. Это — автопортрет.

«Врет», — одновременно подумали Тернавцевы.

Полковник вернулся и сказал, что веранду можно посмотреть, а комнаты — нет.

— Впрочем, одну можно. А во второй лежит больная.

— Да нет, пожалуй не стоит, — вспомнив разговор со старым моряком, сказал Вадим Николаевич.

И еще раз взглянув на портрет, они простились. Полковник проводил их до калитки.

— Ваш брат художник? — спросил его Вадим Николаевич.

— Да. Бывший.

— Так этот портрет на кухне — действительно его работа?

— Да. Трудно поверить?

— Очень трудно. Он сказал, что это — автопортрет.

— И не солгал.

— Но как же случилось...

— О, это длинная история. И очень грустная. Вы в Москву?

— Да.

— Пожалуй, поеду-ка я с вами. Одну минуту. Только прощусь с братом и возьму портфель.

Другой они разговорились, познакомились и, расставаясь, записали телефоны друг друга.

— Все-таки очень трудно поверить, что в кухне у вашего брата висит его автопортрет, — сказала Елена Викентьевна. — Ведь ни малейшего сходства. Извините меня, — вдруг спохватилась она. — Может быть, это неуместное любопытство.

— Нет, почему же. Если всмотреться, сходство все-таки есть.

— Наверное, у него была тяжелая жизнь?

— Вы, должно быть, думаете, что он был арестован? Да. По уголовному делу. Но в молодости у него была прекрасная счастливая жизнь. Он был очень хорош собой, талантлив, богат. От этих-то времен у него и осталась дача.

— И что же произошло?

— Многое произошло. Но это прошлое принадлежит ему, и я не знаю... Имею ли я право...

— Понимаю, — торопливо сказала Елена Викентьевна. — Принадлежит ему, а не вам. И вы не можете без его ведома рассказывать незнакомым людям...

Помолчали, потом заговорили о другом.

— В ближайшее время, к сожалению, у меня не будет возможности заглянуть к вам, — расставаясь, сказал полковник. — Срочная командировка. И когда вернуться в Москву — не знаю. — Он улыбнулся. — Но если вернусь, непременно позвоню вам. И приеду.

Он не стал объяснять, что значит это загадочное «если». Отдал честь, щелкнув каблукими, сел в такси и уехал.

2

Так и не сняли Тернавцевы дачу на лето в Подмосковье весной 1986 года. Пришлось добывать путевку в Палангу — им по возрасту уже давно нельзя было отдыхать на юге.

Вернувшись в октябре, они получили от полковника Ларина письмо и маленькую заказную бандероль.

Он писал: «Уважаемые Елена Викентьевна и Вадим Николаевич! К сожалению, у меня нет времени, чтобы заглянуть к вам. Завтра улетаю снова. О брате: вот его маленький архив. Ничего значительного, кроме дневника, который он вел в тюрьме. Посылаю его вам. Вернусь ли — трудно сказать. Между тем, я очень привязан к брату, и нужно, чтобы этот дневник сохранился. Вы, как я понял вопреки нашему мимолетному знакомству, люди отзывчивые и с участием отнеслись к судьбе моего несчастного брата. По возвращении, если таковое состоится, немедленно позвоню вам и, с вашего разрешения, приеду.

С приветом. П. Ларин».

Дневник состоял всего из нескольких страниц, исписанных мелким, но разборчивым почерком:

«... В камере всю ночь горит свет. Они задумали замучить меня, а я вместо дополнительных показаний (которые я не стану писать) решил воспользоваться пером и бумагой, которые я получил для показаний, рассказать эту историю, эту странную, погубившую меня историю. Конечно, все было бы просто, если бы мне удалось понять загадку моего отношения к Наде.

Я не стану рассказывать, как и когда мы встретились впервые, и как я впервые изменил жене, которую всегда любил и люблю больше жизни. Об этом рассказано в миллионах книг.

Надя долго не предлагала мне встретиться наедине, хотя я знал, что у нее есть мастерская. Она была ювелиром. Для женщин это — редкая специальность. Она работала в заброшенном подвале старого дома на Литейном. Вход был завален какой-то рухлядью, и мне подумалось, что это потому, что Надя не хотела платить налога, который теперь требуют со всех, занимающихся частным трудом.

Помню первое впечатление от этого подвала: полутемно, сыровато, освещен только низкий стол, на котором стоит маленький горн, соединенный с газом. И над вспыхивающим и гаснущим голубым огнем руки Нади, держащие кольцо, браслет или брошь. Если присмотреться, освоиться с сумерками, на стене проступает полка, на которой вперемешку с какими-то инструментами лежали книги, а под полкой стояла узкая железная кровать, покрытая старым ковром. На кровати неудобно было лежать вдвоем, но я как-то устраивался.

Мне было трудно лгать жене, и с каждым днем становилось все труднее. Я ненавидел ложь, и в детстве даже актеры, говорящие чужие слова, казались мне притворщиками и лжецами. И все-таки я лгал, и ложь была особенно грязной, потому что я лгал женщине, которую любил без памяти. Конечно, надо было прекратить встречи с Надей, но когда я думал об этом, на меня нападала такая тоска, такая безысходность, с которой не было сил бороться. Жизнь сразу теряла цвет, и можно было оглохнуть от чудовищного мне оглушительного барабанного боя, который начинался, едва я начинал думать о разрыве с Надей.

Приближалось десятилетие нашей жизни с Ларисой, а я не знал, что подарить жене. И как раз в это время я увидел у Нади прелестную брошь, овальную, золотую, но не из желтого, а из светлого, похожего на платину, золота.

Брошь стоила дорого, пришлось взять последние деньги с книжки, и я впервые решил выполнить небольшой заказ. Один крупный работник Министерства иностранных дел давно просил меня о портрете жены, молодой красивой женщины, и я согласился. Я работал у него на дому. Меня тяготило, что надо было заботиться только о сходстве — это было далеко от жанра, в котором я обычно работал.

И вот однажды, вернувшись домой, я по лицу жены понял, что она все знает о наших отношениях с Надей. Более того, ей кто-то сказал, что брошь я купил у нее. И объяснение началось с того, что она к моим ногам швырнула эту брошь. Мы поссорились, и ссора была тяжелой, безобразной. Она ударила меня по щеке с неожиданной силой, я оттолкнул ее, она упала. Я бросился к ней, и тогда она меня оттолкнула и поднялась сама. Я взял себя в руки, и хотя сердце стучало как бешеное, заставил себя попросить ее выслушать меня. Я сказал: «Пожалей меня». Очевидно, это были слова, которых она от меня не ожидала, потому что со страдальческим лицом все-таки заставила себя слушать.

И я рассказал ей все. Я рассказал, как тяжело мне было лгать, что я лгал, жалея ее, что был бы счастлив, если бы мне удалось прекратить отношения с Надей. Что я люблю не Надю, а только ее, что я тысячу раз давал себе клятву отказаться от Нади и тысячу раз не мог сдержать этой клятвы. Что какое-то непонятное, колдовское чувство влечет меня к ней — и влечет настоятельно, неудержимо, хотя я даже не знаю, любит ли меня Надя или только позволяет любить себя.

Я сказал, что теперь, когда все рассказано и зачеркнута эта постыдная тайна, мне будет легче справиться с собой, взять себя в руки.

Жена молчала. По ее доброму, измученному лицу было видно, что она с трудом держит себя в руках. Несколько раз она задохнулась от горя и перевела дыхание, чтобы не прервать меня.

— Что же делать? — спросила она слабым голосом. — Уехать из Ленинграда? Может быть, надолго, на годы?

И я всей душой схватился за эту мысль.

— Да, уехать. Куда? Все равно. Если в Москву, надо постараться обменять квартиру. Это трудно. Может быть, не в Москву, а куда-нибудь на периферию, в какой-нибудь маленький город. С деньгами будет плохо, но когда я кончу заказанный портрет, я получу сразу много.

— Нет, — сказала жена. — Мы никуда не уедем. Уеду я, а ты останешься. Если у тебя хватило силы, чтобы расказать мне все, что с тобой случилось, ты в конце концов справишься с собой. Тебя толкает к ней чувство, что ты свя-

зан ревностью и не можешь распорядиться собой. Вот почему я ничем не могу помочь тебе. Моя ревность связывает тебя по рукам и ногам, и нет ничего удивительного в том, что тебе хочется освободиться.

Я согласился, и все было готово к ее отъезду, когда она заболела.

.

«Был на допросе. Повторил все сказанное прежде. Отпечатки моих пальцев на многих предметах. Ничего удивительного, ведь я же много раз был в мастерской».

«Для меня было совершенно ясно, что заболела она из-за меня, измученная ревностью, подозрениями, и, наконец, эти мои признания, эта безобразная ссора — все соединилось в ее отчаянии, которое вылилось в болезнь».

Ну уж теперь я не оставлял ее ни на минуту. Даже ночью пристраивал раскладушку, чтобы дежурить у ее постели. У нее был спазм сосудов головного мозга, и врачи надолго уложили ее. Она молчала, и у меня сердце рвалось от боли, когда я видел ее близкое, похуевшее, милое лицо. Не знаю, что произошло в эти недели между нами, но она несколько раз погладила мою руку, когда я из чайничка поил ее бульоном, и я с трудом удержался от слез.

В эти дни я понял, что не ценил ее. Все, что казалось само собой разумевшимся, все, к чему я бессознательно привык, — ее открытость, доброта, бескорыстие, все, скрытое машинальностью, ежедневностью, что я не замечал, вдруг проступило, как на тайнописи, которую надо поднести к свече, чтобы проступили невидимые строки.

Я вспомнил, как тонко она всегда судила о моей работе, как ее замечания неизменно помогали мне.

Все время, пока болела жена, я не видел Надю. Оскорбительно для жены было сравнивать их. Да, на Надю оборачивались мужчины, когда на улице она проходила мимо — не было ни одного, у которого не вспыхнуло бы желание. Да, ее статность, прямая шея, рост, ее русская деревенская красота, ее безотказность, ее маленькая, но тоже чем-то волнующая грудь могли свести с ума, привлекали остро, неудержимо. Но я-то знал, что за этой неотразимой привлекательностью скры-

вается грошова, грубая душа. Грубая и жестокая.

У нее был свой круг знакомых, о которых я не имел никакого понятия и о которых она никогда со мной не говорила. Она долго не хотела, чтобы мы встречались у нее в мастерской, а когда я однажды увез ее в Лугу и нам помешали, сказала: «За семь верст киселя хлебать».

Она вся сказала в этой фразе. И я не удивился бы, если бы оказалось, что Надя участвует в каких-нибудь грязных делах. Нет, конечно, не в политических. Незнакомый человек, которого я однажды встретил в ее мастерской, при моем появлении сразу исчез, точно растворился в воздухе. Почему она не познакомила нас? Потом я узнал, что за полкой с инструментами открывался длинный узкий коридор, который вел, очевидно, прямо во двор.

Она сама однажды показала мне этот ход. «Если постучат, беги в коридор, там есть еще один выход».

Без сомнения, она была связана с какими-то людьми, о которых я ничего не должен был знать.

И эти поездки . . . Она уезжала куда-то на два-три дня, а когда я спросил: «Куда?», ответила тоже грубо: «Это не твоё дело». Но все это было в прошлом. С тех пор как заболела жена, я не был у Нади.

«И слава Богу, — думалось мне. — Я спокойно думаю о том, что мы никогда больше не увидимся. Какое счастье!»

Когда жена оправилась, я устроил ее в Дом отдыха Союза художников в Рузе, а сам с ожесточением, с каким-то бешенством взялся за работу. Я писал автопортрет, давно брошенный, мне никак не удавалось найти то, что кажется простым, а на самом деле нельзя выразить никакими словами.

Я пытался изобразить себя бредущим куда-то из западни, в которую меня сввернула судьба. Вокруг темнота, и я взял в руки свечу и пытался написать свое лицо, освещенное снизу свечью. Дать темноту было в тысячу раз труднее, чем свет. Она должна была быть прозрачной и непрозрачной — виднелись только призрачные очертания. Я шел со свечью в руке. Нет, не шел, а уходил от всего, что прежде составляло жизнь. Ведь не предназначен же был я к слепой страсти, к невозможности владеть собой, к рабской участи раздавленного судь-

бой раба. Я был задуман иначе, теперь со свечой в руке я шел к самому себе».

.

«На допросе следователь допытывался, знаю ли я кого-нибудь из друзей Нади или из ее знакомых. Он не поверил, когда я сказал, что не знаю.

— И вы утверждаете, что не имели никакого представления о том, чем они занимались?»

Он недоверчиво, но терпеливо слушал мои объяснения.

Я рассказал ему, что Надя велела мне бежать, если кто-нибудь постучит, и показала коридор, открывающийся за дверью, на которой висела полка.

Забыл упомянуть, что на окраине Ленинграда, на чердаке шестизэтажного дома, превращенном в ателье, были мастерские молодых художников, членов Союза. Среди них была и моя, но стал работать я в ней недавно, уж много времени надо было тратить на дорогу. Но именно в этой мастерской я писал автопортрет.

Художники, писавшие в соседних мастерских, иногда заходили ко мне, но я встречал их холодно, хотя среди них были друзья или, по меньшей мере, расположенные ко мне люди. Но они понимали, что я не хочу показывать неоконченную работу и почему не удерживал их, когда спустя десять или пятнадцать минут они уходили.

Я похудел, побледнел, бывали дни, когда я забывал съесть бутерброды, принесенные из дома.

При ателье была маленькая лавочка, в которой художники покупали краски. Хозяйничала в этой лавочке молодая женщина Шуручка Сияльская. Она же присматривала за чистотой в мастерских. Вот эта Шуручка довольно часто заходила ко мне. Добрая женщина, она видела, как я измучен работой. Она являлась с чашкой горячего чая и уговаривала отдохнуть и поесть. Я соглашался: пил чай, и не одну, а пять или шесть чашек, съедал что-нибудь, иногда она приносила даже пельмени или сосиски.

Но когда я попросил ее разрешить мне остаться в мастерской на ночь, решительно отказалась.

— Вы что, уморить себя хотите? — спросила она.

Уже давно я равнодушно думал о Наде. Да и не думал, просто вспоминал иногда, что остался должен ей

за брось. Давно надо было отдать, да заодно сказать то, о чем она, без сомнения, сама догадалась.

... Это был памятный день, когда я понял, что портрет удался.

Нужно было еще немного усилить свет, в котором жило лицо, и я почувствовал знакомую дрожь наслаждения, когда выдавливал из тюбика краску, еще прежде, чем она ложилась на холст.

Осторожно я усилил свет и, отойдя, постарался посмотреть на автопортрет как бы холодными чужими глазами. Все пело во мне, все дрожало, но посмотреть чужими глазами долго не удавалось. Наконец стало видно то, что прежде еще только угадывалось.

«Но это не сегодня, — подумал я, — в такой счастливый день».

Может быть, завтра, хотя до чужих глаз трудно и не всегда удается добраться. А сегодня я отдам деньги Наде, и она поймет, что все между нами кончено, как кончен автопортрет.

Это тоже было освобождением от душевного труда, постоянной лжи, неуверенности, темной страсти, которая без труда побеждала меня, от чувства вины, что я не могу справиться с ней.

Я взял такси, чтобы быстрее добраться до Нади, и даже не заметил, как доехал до ее мастерской. Ничего не переменилось, кучи мусора, какие-то заржавленные полоски железа маскировали вход.

Дверь, к моему удивлению, оказалась открытой, горела тусклая лампочка, и при этом сумеречном свете...

.

На этой фразе обрывались записки Ивана Павловича Ларина, которые он вел в середине шестидесяти годов. Дату можно было определить потому, что он писал на бумаге, которую требовал для дополнительных показаний, — на некоторых листах стоял год и месяц.

Записки принадлежали профессиональному художнику, умному и тонко чувствующему человеку. Неужели это был тот пьяный, бессвязно бормочущий толстяк в Скорино, который заинтересовался тем, что у него хотят снять дачу в то время, когда она была уже сдана, и он не знал или забыл об этом. Что же сделало его таким?

Правда, прошли годы, но какие годы? Почему он оказался в тюрьме? Что

он увидел при тусклом свете в мастерской своей любовницы, с которой решено было расстаться? И почему у его брата сохранилась только часть дневника? Его судили? В чем его обвинили, и был ли он действительно в чем-нибудь виноват?

Тернавцевы позвонили по телефону, который оставил им полковник.

— Он в отъезде, — ответил женский голос. — А кто говорит?

Тернавцев назвал себя и рассказал о случайном знакомстве.

— Да, он мне говорил. Нет, раньше весны я его не жду. Да и то...

Иногда кажется, что все повторяется, а иногда повторяется в действительности. Снова подошел март, снова Тернавцевы стали думать о даче и снова решили поехать в Скорино — теперь был очень интересный их, основательный повод: вновь посмотреть на автора тюремных записок, прожившего такую тяжелую, такую до неизвестности изменившую его жизнь.

Но этому желанию не суждено было осуществиться: старый моряк, сосед Ларина, к которому они зашли, сказал, что прошло уже три месяца, как Ларин скончался.

— И, на удивление, незадолго до смерти пришел в себя и стал совсем другим человеком. Попа попросил, покаялся, и похоронили его по православному обряду. Ольга Игнатьевна (это была жена полковника) приезжала. Она, между прочим, поручила мне распорядиться домом. Оставила денег, чтобы все вымыли, почистили, прибрали. Так что если вы по-прежнему намерены снять...

Он назвал цену, сравнительно умеренную, в Скорино были дороги дачи.

Две небольшие комнаты и веранда, открытая и тоже небольшая, выходили в лес; туалет был во дворе — это было единственное неудобство. Мебель простая, старинные венские стулья, диван, обитый полосатой материей, с подушками разного цвета, две кровати, тоже старинных, деревянных, и — это было неожиданно — прекрасный, не просто старинный, а александровский, даже, может быть, павловский шифоньер, увенчанный, как колонна, изящной капителю.

Шифоньер был закрыт на ключ. Вадим Николаевич пытался открыть его всеми ключами, находившимися в его распоряжении, но потерпел неудачу.

Вообще, по всем законам нравствен-

ности, этого не следовало делать. И если бы Тернавцевы не прочли записки Ивана Павловича Ларина, Вадим Николаевич не пытался бы раскрыть тайну шифоньера. Но ведь полковник позволил же ему прочитать эти записки, даже не спросив разрешения брата, — так ничего особенного не произойдет, если ему удастся разгадать эту тайну. Может быть, в этих ящиках как раз и найдется продолжение записок? Может быть, найдутся бумаги, из которых Тернавцевы узнают, что случилось с Лариным после тюрьмы, в чем его обвиняли?

Елена Викентьевна предложила ему подождать возвращения полковника или, по меньшей мере, поговорить с его женой. Он согласился.

— Правда, я недавно была, — услышал он в ответ, — но мне самой интересно, что в этом шифоньере.

Она приехала, и Тернавцевы удивились, что у полковника, которому было, должно быть, под пятьдесят, такая молодая жена. Ольга Игнатьевна, высокая, тоненькая, хрупкая, выглядела совсем девочкой. Она была модно причесана — волосы надо лбом затейливо взбиты, носила изрядно потертые джинсы, на груди у нее болталось ожерелье с портретом Высоцкого. Впрочем, она была больше похожа на мальчика, чем на девочку.

— Ну что вы на меня смотрите? — спросила она. — Что я молодая? Не очень. Двадцать четвертый пошел. Я вообще худая, а последнее время еще похудела. За Павлика беспокоюсь. Мы с ним недавно поженились.

Она привезла из дома десяток ключей. Ни один не подошел, и пришлось прибегнуть к помощи слесаря. И слесарь провозился долго. Хотел взломать, но Ольга Игнатьевна не позволила.

Один ящик удалось открыть только на следующий день, но в нем оказались бумаги, не имевшие отношения к несчастной судьбе Ивана Павловича Ларина.

Ящик был битком набит прошениями, заявлениями, письмами с просьбами, связанными с постройкой дома и его страхованием.

— Очевидно, эти бумаги относятся к тому времени, когда дом принадлежал кому-то другому, — сказала Ольга Игнатьевна. — Вообще-то Павел не любит разговоров о брате. Даже познакомил он меня с ним неохотно.

— А вы знали его жену?

— Нет. Она умерла молодой. Ее смерть тоже была как-то связана с историей мужа. Павел сказал, что до ее смерти он был совсем другим человеком. Талантливый художник. Вы видели автопортрет?

— Да. А другие его работы сохранились?

— В частных домах. А то, что было в его мастерской, — порезал.

— Как порезал?

— Ну как? Ножом. В припадке отчаяния или безумия. А может быть, пьян был. Еще до смерти жены он стал пить. И не хотел лечиться. Словом, я ничего толком не знаю. Вот Павел приедет и расскажет.

Он вернулся осенью, похудевший, но бодрый, с орденом, и через несколько дней после приезда явился в Скорино. Ольга Игнатьевна приехала с ним, и странно — в его присутствии она почему-то не показалась такой уж девочкой, — она была не в джинсах, а в костюме, и новая прическа делала ее старше.

Вадим Николаевич хотел заплатить за дачу.

— Не надо. Осенью.

— Ну как в Афганистане?

— Плохо. Гражданская война. И боюсь, что правительство ее проиграет.

Он тоже заинтересовался шифоньером.

— Нет, записок Ивана там нечего и искать.

— Почему?

— Потому что ту часть, что вы прочитали, он передал мне на свидании, а продолжение — если он продолжал записывать, — надо искать в архиве.

— В каком архиве?

— Не знаю, в каком. Все бумаги, находившиеся у него, надо полагать, отобрали, и если они существуют где-нибудь, так только в деле.

— Как в деле?

— В документах по делу. А дело слушалось тридцать лет тому назад, и о нем все давным-давно забыли.

Они помолчали. И вдруг полковник звонко хлопнул себя по лбу.

— Постойте-ка! А может быть, не все. И даже наверное не все. Ивана защищал некто Лозинский, тогда совсем молодой человек. Он теперь известный деятель, член президиума коллегии адвокатов. Он может помочь.

— Как?

— Поднять дело. И найти среди бумаг дневник, если он существует.

— Тридцать лет!

— Ну и что ж! Сейчас и не такие дела поднимают. Завтра позвоню ему. Правда, сомнительно, что у него найдется время. Он, без сомнения, очень занятой человек.

На следующий день выяснилось, во-первых, что Лозинский на месяц уезжает в Узбекистан, а во-вторых, что он сможет заняться делом Ларина только через полгода. И не сам, конечно, а кто-нибудь из его порученцев.

Лозинский вел процесс о грандиозном взяточничестве, в котором были замешаны стоявшие близко к правительству люди.

И вот наступил день, когда свершилось то, что и сам Лозинский и его помощники — холодные, деловые, невозмутимые люди — назвали чудом. Записки нашлись. Сперва полковник с женой, а потом Тернавцевы прочли их, не пропустили ни слова.

«. . . Она была как-то странно простерта на низком столе, с вытянутой головой. В подвале было полутемно, и я не сразу понял, что она мертва.

И вот тогда послышался этот негромкий, задыхающийся, полузадушенный крик. И одновременно замаскированная дверь, на которой висела полка с инструментами, сама собой отворилась.

Как будто эта дверь была живой, она предложила мне бежать, бежать от всего, что должно было случиться. Бежать, не останавливаясь, по улицам города, по дорогам, мимо домов и домишек, мимо лесов и полей, мимо деревень и сел. Бежать, скрыться, чтобы о тебе забыли, чтобы только самые близкие — жена, брат — иногда вспоминали обо мне. Существовать только иногда, чтобы совсем забыть, что для тебя когда-то существовал белый свет».

.

«. . . Должно быть, я вел себя глупо, путался в словах, перебивал себя, а иногда его, когда он спрашивал об отношениях с Надей. В участке были только он — не знаю, лейтенант или капитан — и постовой, к которому я подошел на углу Литейного. Меня сразу заподозрили, я чувствовал это и раздражался, хотя сам понимал, что меня невозможно не заподозрить.

— В подвале? А почему вы пошли в этот подвал?

Это было странно, но капитан несколько не удивился тому, что в подвале находилась ювелирная мастерская.

— Там ювелирная мастерская, и я должен был отдать долг.

— А как фамилия женщины, которую вы нашли мертвой?

— Гарденина.

Капитан переспросил с ожившимся лицом и схватил телефонную трубку.

— Угрозыск? Дайте Фласенко. — И через минуту: — Она не успела уехать, Егор. Ее убили. Выезжай.

Милицонер, с которым я пришел, отдал честь и попросил разрешения вернуться на пост.

— Да, да вы свободны.

Он позвонил врачу, еще куда-то, собирая группу.

— К сожалению, я должен вас задержать, — сказал он мне».

.

На этой фразе обрывались записки, и вечером Тернавцевы, пригласив к себе полковника, заговорили о них.

— Он был арестован? — спросил Вадим Николаевич.

— Да. Он полгода провел под следствием.

— Что же, это была какая-то мафия, банда?

— Да. И Гарденина была нужна им, чтобы переделывать украденные драгоценные вещи. Брошь, которую он подарил жене, тоже была, я думаю, переделана. Иначе какое-нибудь колечко или серьги трудно продать.

— А почему они решили ее убить?

— Вот вы говорите «они»! А следствию понадобилось полгода, чтобы в этом убедиться, хотя это было ясно с первого взгляда.

— Нет, не очень ясно. Я сказал «они», потому что убил не ваш брат. Вот это, действительно, совершенно ясно.

— Угрозыск давно следил за ними. Очевидно, она стремилась порвать с этой бандой, а может быть, даже раскритиковаться, рассказать о себе и о них. Не знаю, как они догадались об этом. Кажется, на следствии это так и не выяснилось.

— Да. Но я говорю только о деле моего брата. Оно было выделено.

— И чем же кончился суд?

— Брат был оправдан. Вот тогда-то я и познакомился с Лозинским. Ему было тогда около тридцати. Он прознес блестящую речь. Но брат вышел совсем другим человеком. Во время следствия Лариса умерла, и душевный перелом произошел, когда ему не дали с ней проститься. Он умолял, требовал, потом впал в бешенство, разбил окно и пытался разбить себе голову о стену. Его связали.

Полковник замолчал, задумался. Как бывало говорили, «тихий ангел пролетел». Тернавцевы тоже замолчали. Елена Викентьевна накрыла на стол, принесла чай.

— Да, Лариса, — сказал полковник. — Какая прелестная женщина была! Я не знал материнской ласки, мать рано умерла. Так когда приезжал, — я тогда учился в авиационном училище, — она просто не знала, что со мной делать. обо всем расспросит, обо всем позаботится. И нельзя сказать, что красивая, но очень привлекательная, очень. Я бы сказал — уютная. И Ивана любила без памяти.

Снова помолчали.

— А этот душевный перелом... В чем он сказался?

— Я бы сказал — в превращении. У других — я замечал — это происходит долго, годами. Меняется человек и сам этого не замечает. А у него — сразу, в несколько дней. Был мягким, обходительным, впечатлительным. Стал грубым, злым, думающим только о себе. Более того: стал трусливым лицемером. Озлобился и стал себя губить.

— Как губить?

— Водка, женщины. Заказные портреты, написанные кое-как, наспех. И вот странно — любое упоминание о Ла-

рисе буквально выводило из себя. Он как будто старался вытравить ее из памяти. Все фотографии сжег. Портреты — он в молодости много писал ее — не только разрезал, но сжег. Дальше — пуще. В доме, где он работал, украл золотой портсигар. Я пытался урезонить его. Какое! Смеется. «На меня не подумают. А мне захотелось попробовать — могу ли я такое? Оказалось, могу. Теперь надо попробовать — могу ли убить».

Жена позвонила полковнику, и он ушел, услывшись о новой встрече.

— Е. б. ж., как говорил Толстой. Если буду жив.

Тернавцевы, давно не разлучившиеся, любящие супруги, подчас ловили себя на том, что думают об одном и том же. Но в этот вечер ловить не пришлось. Они умылись, разделись, легли, помолчали и заговорили о том, о чем не могли не заговорить. Чужая трагическая судьба ворвалась в их тихую размеренную жизнь, и несходство этой судьбы с тем, что до сих пор приходилось видеть и слышать, поразило, показалось им удивительным, необыкновенным. И ко всему этому нельзя было отнестись, как к истории, прочитанной в книге. Они нечаянно вступили в другой мир, полный неожиданностей, лишенный того логического смысла, без которого жизнь была пуста и ничтожна. Мир, в котором ничего нельзя предвидеть и который существовал вопреки реальности, основанной на человечности, руководившей их существованием.

— А мы, кажется, так и не спросили его об автопортрете, — вспомнила Елена Викентьевна.

— Я спросил, когда ты была на кухне. Денег не было, и он за день до смерти продал его кому-то за гроши.

19/III 1989

БОЛЬШОЙ СМЫСЛ РОССИИ

Хочу сделать странное признание: надоела Россия. Не то что русофобия замучила, а в целом — русский вопрос. И то, что он есть, и то, что давно уже у нас на него много правильных ответов, а вопрос остается. Особенная у нас стать? Особенная. Отсталая? Отсталая. Нужна демократия? Нужна демократия. Не нужна демократия? Не нужна демократия. Бердяев писал в «Русской идее»: «По поляризованности и противоречивости русский народ можно сравнить лишь с народом еврейским... Можно открыть противоположные свойства в русском народе: деспотизм, гипертрофия государства и анархизм, вольность; жестокость, склонность к насилию и доброта, человечность, мягкость; обрядовое и искание правды; индивидуализм, обостренное сознание личности и безличный коллективизм; национализм, самохвальство и универсализм, всечеловечность; эсхатологически-мессианская религиозность и внешнее благочестие; искание Бога и воинствующее безбожие; смирение и наглость, рабство и бунт».

И Бердяев, и Соловьев, и многие другие делали акцент на эсхатологическом характере русского самосознания. И вот, эсхатологический момент наступил, и загадочная русская душа с новой, агонизирующей силой стала захлебываться правильными ответами на свой вопрос. Неправильных ответов на него не существует. Но, думается мне, у России с категорией времени иные отношения, чем у западной цивилизации. Там оно линейно, потому что в него последовательно воплощаются

жизнь за жизнью, жизнь и ментальность неразрывны, они должны друг друга подтверждать, в них наличествует прогресс — время эволюционно. Черты этого, и буддийского времени-колеса, присутствуют в России, но сильнее всего проявляется ислам. Отношение к живому как к рабочему материалу для окончательного мертвого, управление бытием из небытия придает статус небытия всей российской жизни, в которой времени не существует. История, как народа, так и отдельного человека, есть легенда, напоминающая калейдоскоп: осколки бесконечно складываются то в ту, то в другую композицию, всплывают на свету, гаснут во тьме. Это осколки, украденные из всех культур и из всех утопий. Украденные, в надежде соткать последний, вечный, все земное (и если есть что неземное) покрывающий ковер. Сама же Россия, как край, населенный людьми, и как люди, населяющие край, — дело десятое. При делении народов на кочевые и оседлые, наверное, Россию следовало бы отнести к уникальной категории кочевого народа в засаде.

Игумен Филофей пишет великому князю Василию III, отцу Ивана Грозного: «Два Рима пали, третий — Москва — стоит, а четвертому не бывать. Соборная церковь наша в твоём державном царстве одна теперь паче солнца сияет благочестием во всей поднебесной; все православные царства собрались в одном твоём царстве; на всей земле один ты — христианский царь». И после этих слов — что уж такого нового в большевиках, кроме концентрации?

Большевистский фенотип русского генофонда надоел еще больше, потому что теперь только об этом и речи: гражданская война, семидесятилетний эксперимент, побег. Строительство коммунизма заменено на строительство правового государства. 18 июля прошлого года Горбачев сказал: «Перестройка в партии существенно отстает от процессов, происходящих в обществе» (цитирую по «Аргументам и фактам», вышедшим в день, когда Горбачев сказал: «КПСС — авангард перестройки», вечером по телевизору 9 сентября). Ну и что? Один правильный ответ у всех уже есть.

Во времена застоя была загадочная альтернатива: или дураки, или сволочи. Но больше склонялись к тому, что дураки. Сейчас альтернативы, или, как говорят наши руководители, не свободно владеющие русским языком, другой альтернативы у нас нет. Но и сама страна дураков (в XIX веке — город Глупов) находится сейчас по калейдоскопической композиции в состоянии сволочного общества.

Российский «большой смысл» извлекается не из христианского (а в американском варианте — карнегианского) постулата: к другим как к самому себе, это когда ты кого-то сволочью называешь, должно прийти чувство, что сам сволочь.

Я давно уже обнаружила в себе комплекс Ионы. Вот хочу уклониться от чего или, наоборот, склониться к чему — моя воля в расчет не принимается, вот прямо-таки иди в Ниневию и скажи, что будет уничтожена. Дальше все знают. Вот сейчас я как раз это и говорю: Россия должна быть уничтожена. В том смысле, что чары должны быть развеяны. Она вроде бы почти и уничтожена, но Кощеево яйцо цело.

Характерно, что русская эмиграция построила ту же модель, что и здесь, в засаде. Или, как они говорят, в метрополии. Под русскими я разумею людей русскоязычных, ибо кровей, начиная с татаро-монгольского ига, намешано, как и осколков в калейдоскопе. Вообще, русский язык кажется мне единственным вещественным доказательством существования России. Хотя вот, один мой знакомый, американский миллионер, русский только по происхождению, но там родившийся, вдруг, в шестьдесят лет, бросил дела, семью, живет с возлюбленной в гостинице и пишет стихи. Исключительно русский

поворот событий. Но поездка ли в Москву тому виной, знание в качестве третьего русского языка, или действительно русская кровь специфическая, бесовская и нейтрализовать ее можно, только плотно закрутив вентиль — стать святым?

Есть такой ответ, что вот святые русские, религиозность допетровская поправная — тут свет, тут — другое. Вспомним образцовое произведение агиографической литературы, русскую идиллию — «Повесть о Петре и Февронии».

Петр приходит к Февронии и просит излечить его от язв. Она говорит: женишься — излечу. Он: женюсь, излечи. Излечила. Ну и он — деру: чего жениться, когда уже излечился? А она хитро: одну язву оставила, и он по новой — неровен час помрет. Опять к ней. Ну — женился. Излечила. Тут-то они и стали святыми. Но ведь шантаж, нехорошо ведь!

Россия — не государство, это область сильно заряженного протобульона с большим смыслом. Ведь только большим смыслом можно объяснить то, что Елисей — великолепный, удачливейший создатель и держатель знаменитых елисейских гастрономов, которые ему уже предложили открыть во всем мире, все в один день бросает: богатство, семью, дело — и сбегает с некой девицей.

Может быть, русские — сумасшедшие?

Как похожа история Елисеева на уже рассказанную мною историю, происшедшую почти через сто лет! А вот письмо Тютчева 1857 года: «Великие кризисы, великие кары наступают обычно не тогда, когда беззаконие доведено до предела, когда оно царствует и управляет во всеоружии силы и бесстыдства. Нет, взрыв разражается по большей части при первой робкой попытке возврата к добру, при первом искреннем, быть может, но неуверенном и несмелом поползновении к необходимому исправлению. Тогда-то Людовики шестнадцатые и расплачиваются за Людовиков пятнадцатых и Людовиков четырнадцатых». Как Горбачеву приятно было бы прочесть это письмо! Но Тютчев продолжает: «истинное значение задуманной реформы сведется к тому, что произвол в действительности более деспотический, ибо он будет облечен во внешние формы закон-

ности, заменит собою произвол отвратительный, конечно, но гораздо более простодушный и, в конце концов, быть может, менее растлевающий».

И ведь это не речь на Съезде народных депутатов-89, на котором Юрий Власов с не изменившимся за 150 лет чувством повторяет слова Чаадаева о том, что Россия существует, быть может, только для того, чтобы преподать миру какой-то страшный урок.

Года три назад я услышала ночью неестественный грохот какого-то небесного камнепада. Утром появился милиционер: не слышали ли вы... Слышала. Как выяснилось, единственная во всем подъезде, хотя не услышать этого было невозможно. Но русский, а может быть, советский слух, как не раз замечали, срабатывает по обстоятельствам. Через месяцок-другой получаю я загадочную повестку в РУВД. Женщина-следователь говорит мне: вот вы слышали... И я поняла, что подъездные жильцы гораздо меня дальновиднее. Хотя и со вздохом облегчения: по дороге я думала о неприятном, которое, впрочем, тоже не заставило себя долго ждать, но по той второй дороге к неприятному я уже ни о чем не думала, вспоминая вот эту невинную историю, которую рассказала мне женщина-следователь, показав много пухлых томов. Мои, как выяснилось, соседи с самого верхнего этажа много лет писали друг на друга доносы: в парторганизации, КГБ, МВД, ЦК, Моссовет — написали просто «Красное колесо», многотомную эпопею. Как вели они на кухне антисоветские разговоры и морально разлагались. То есть, он — что она, а она — что он. Потом развелись, он женился на другой, продолжая оставаться в этой же, ему принадлежащей квартире, она уехала, а ключ завыкала. Подкараулив, когда те уехали, она пошла ночью в квартиру, учинила там погром, побив все, что можно было разбить, и выбросив из окна все, что могла поднять. Грохот этих падающих подушек и этажерок до меня как раз и донесся. Последний том их дела — это переписка с судами с требованием посадить друг друга в тюрьму, и следственные органы всем этим бредом занимаются, а я в результате довольна была узятием того, что титанизм Солженицына свойствен многим советским людям. Есть еще порох в пороховницах! У них просто руководящая и на-

правляющая сила другая, чем у Александра Исаича.

Да, да, все русские, в скобках советские, люди — шизофреники. Одна их половина — садист, жаждущий власти неограниченной, другая — мазохист, жаждущий побоев и цепей. А также это одна и другая половины общества. Есть еще те, кто вклинивается между двумя этими страстями и погибает. Как Столыпин, например.

А ведь шизофрения, раздвоенное сознание — это и есть то, о чем пишет Бердяев, — поляризованность и противоречивость русского народа.

Здравого смысла здесь никогда не было и нет. Вон как в дореволюционной Москве птиц продавали: при пересаживании из клетки в клетку покупателя продавец сдает птичке голову в определенном месте, и у владельца птица помирает через день-другой. И птичник-любитель — снова на птичий рынок, за новой птицей — так продавцу доход больше.

Ужесточение контроля, знаменитого нашего контроля — дело бессмысленное: продавец лучше подкупит контролера, тот — контролера над ним и т. д., чем будет честно работать и говорить правду в воровском климате уже упомянутого калейдоскопа. Воровство — адовая изнанка райской идеи, что «мы у всех должны взять все лучшее». Удавшийся, в отличие от советского, вавилон — США, заселился кем ни попадя. Но наши, кто ни попадя заселившиеся в США, говорят, и там продолжают грабить и убивать. Появилась тут статья, что это не русские, а евреи из СССР. Почему-то никого не удивляет, что русские цари были немцами, и не называют их немецкими царями. Главная национальная черта французов — жадность, но обрусевший Дантес, вместо того чтобы жадничать, почему-то убил Пушкина. Так, вспомнилось. В связи с тем, что склонности к убийству и воровству никогда не было в характере еврейского народа. Изворотливость, шахматный ум... Это вот тоже надоело: русский вопрос с евреями. Он как-то показательно безумен.

Был у меня одноклассник: рыжий толстый нелепый еврейский мальчик в очках, с пальцами обгрызанными и в чернилах. Его во втором классе судили судом родительского совета за воровство. Он у всех воровал ручки, дома у него склад этих ручек обнару-

жили и стали травить организованной группой одноклассников, родителей и учителей. Все по-взрослому — и обыски, и расправа . . .

Так вот мальчик тот, такой не от мира сего, был двоечник, чокнутый. И вдруг в седьмом, что ли, классе просыпается в нем математический гений, теперь он — чемпион всех олимпиад, и гоночок в нем эдакий обнаруживается. И становится он ближайшим другом одного преуспевающего ученика, сына гэбэшника, на два года посреди школы съездившего с родителями в Чехословакию — в 68 году танк наводить. Папа, разумеется. Сын потом заканчивает МГИМО, Академию Общественных Наук, квартира у него возникает, как рассказывали, с бассейном. А наш лагуазье, напомню, что еврей, стало быть какие уж тут университеты, поступает в какой-то так себе вуз, и вроде бы математический гений в нем иссякает. Узнаю я о его дальнейшем существовании в связи с тем, что он стал правозащитником, издавал подпольный журнал, его сажают, он храбро ведет себя на суде (кажется, это 82 год) и, как рассказывал общий знакомый, обращается он к тому его другу, по-

моги, мол, а тот у своего бассейна морщится и просит забыть его телефон. Одноклассник мой, отсидев, уехал, как и почти все одноклассники. Выйдя замуж. У женщин вообще инстинкт самосохранения лучше.

Представьте, какая это особенная статья нелепицы, путаницы, в которую все замешаны и повязаны, и попытки вырваться в одиночку из этого варева чаще всего приводят к изгнанию.

Россия — утопия, страна, населенная призраками и мифами. Может, это Древняя Греция? Ценность представляет не жизнь, а рефлексия о ней. Жить ради того, чтобы была у тебя и вокруг хорошая жизнь, миссионерский народ не станет, он живет только надличными ценностями, за пределами жизни. Будущим. Каким теперь?

В переучение этого народа на жизнь ради жизни поверить трудно. В герметизацию? В рассеяние по свету? В полное истребление? Ни одного правильного ответа. Но великий и могучий, то есть, русский язык уже настаивает, чтобы Большой Смысл показал себя до конца, и если это плохой смысл, великий и могучий отвернется от него. Как уже не раз отворачивался.

Георгий ФЕДОРОВ,

доктор исторических наук,
член Союза писателей СССР

ДЕЗЕРТИР

(ИЗ ЗАПИСОК ОККУПАНТА)

В уже темную мартовскую ночь 1941 года редкая по литовской весне выюга то затихала, то снова начинала лихо посвистывать в щелях дощатого барака, в котором размещалась наша рота. Барак разделялся неполными дощатыми же стенками на три отсека, в каждом из которых помещался один из взводов нашей курсантской роты. Возле стен находились стойки, в которых повзводно стояли винтовки: до недавнего времени — наши старые добрые трехлинейки образца 1891—1930 годов. Стволы их тускло поблескивали только у выхода из барака, где на табуретке возле столика с фонарем «летучая мышь» дремал дневальный. По другую сторону входной двери потрескивали поленья в громадной, до потолка, круглой печи, оббитой железом и

покрашенной в черный цвет. Впрочем, тепло ощущалось не дальше чем на расстоянии метра от нее. Барак был слеплен нами же кое-как, наспех, из горбыля, добытого на лесоторговом складе близ города. Материал был дрянной. Настоящие доски — тридцатки, сороковки, вагонка — пошли для домиков командного состава полка. Да и строители мы были никудышные. Полк еще прошлой осенью был выведен из города, так как участвовали случаи бесследного исчезновения солдат, а в еще большей степени — командиров. По словам политруков, иногда в канализационных люках, заброшенных сараях, канавах и других потаенных местах находили трупы солдат и командиров нашего полка, почти всегда изуродованные.

Пока полк дислоцировался в городе, третий батальон и взвод пеших разведчиков, куда я был временно зачислен, разместили в действующем еще тогда женском монастыре. Трехэтажные кирпичные корпуса, обнесенные высокой каменной оградой, представляли собой замкнутый четырехугольник с просторным двором-садом в центре и собором в одном из корпусов. В другом корпусе разместили наш батальон, выселив оттуда монахинь. В кельях, рассчитанных на двух монахинь, сбили двухэтажные нары и поселили по отделению, по 10 человек в каждой. Почти сразу же вышли из строя, не рассчитанные на такую нагрузку, уборные. Солдаты поневоле, повесив ремни на шею и спустив штаны, садились орлами прямо во дворе, среди цветов и кустарников. Мимо, мелко крестясь, проходили монахини. Впрочем, почти сразу же установились и куда более тесные контакты. Молодых монахинь насильовали прямо в кельях и даже в алтаре собора. Мне было тогда страшно и стыдно. Очень страшно и очень стыдно.

Увольнительные давали редко, всегда только на несколько человек. Мне все же удалось несколько раз их получить. В городе я всегда заходил в магазин «Культура». Хозяин уже знал меня и встречал с поклонами и дурацкими льстивыми словами. Впрочем, он и впрямь относился ко мне неплохо и даже с некоторым доверием. Я, не взглянув на прилавки и стеллажи в магазине, прямо проходил в заднюю комнату. Там на нескольких полках размещались русские книги рижского издательства, уже объявленного нашими властями белогвардейским. Среди этих книг попадались иногда очень интересные. Там нашел я еще нечитанный роман одной из любимых мною писательниц, норвежки Сигрид Унсет и поразительно сильную по глубине, интеллекту, честности и высокой духовности книгу Вадима Белова «Похмелье». Автор — русский дворянин и интеллигент, пошел добровольцем на первую мировую войну. Получил два солдатских Георгия, был произведен в прапорщики, дослужился до чина поручика. После Октябрьской революции воевал против Красной Армии под командованием Деникина, Колчака, Врангеля, барона Унгерна и в конце концов оказался в Харбине, где и написал эту горькую, умную, предельно

честную книгу, которая мне на многое открыла глаза. Чего бы я не дал, чтобы познакомиться с автором! Много лет спустя я узнал, что он вернулся в Россию, некоторое время жил спокойно, даже издал «Похмелье», правда с некоторыми купюрами, в Москве, но потом был расстрелян, как белогвардеец. А книгой я дорожил безмерно. Нам, в боях с литовскими партизанами, приходилось по многу часов лазить по болотам и продираться сквозь чащи лесов, особенно в Западной Литве — Жемайтии, совершать марш-броски, иногда длительностью до 50 километров в сутки. В этих условиях каждый предмет становился чудовищной ношей. Как и мои товарищи, я прежде всего выбросил противогаз, потом НЗ-консервы, белье, потом масленку для чистки винтовки, всякую, пусть и нужную, ерунду, потом гранаты. Когда уже нечего было больше выбрасывать, кинул в канаву и книги. Все, кроме «Похмелья». Эта одинокая книга в вещмешке, патроны в подсумках, да винтовка — вот и все, что у меня осталось». Книга Вадима Белова «Похмелье» и сейчас, спустя полвека, стоит у меня на книжной полке. Я на всю жизнь сохранил чувство благодарности к хозяину магазина — Юстасу — пожилому, толстому человеку с печальными умными глазами и седым ежиком на голове. А первое знакомство с ним было, пожалуй, трагикомичным...

В этот город наш полк вступил под вечер жаркого дня, измотанный долгими, неправедными стычками с литовскими партизанами, «лесными братьями», или «шаулистами», как их называли в память, что ли, страшного поражения, нанесенного литовцами агрессорам — немецким орденским рыцарям под городом Шауляем в XIII веке.

В 1940 году, тогда, всего через два месяца после нашего вступления в Литву, какими глупыми, примитивными казались мне прежние представления! Наш младший политрук, поминутно сдвигая белесые, почти бесцветные брови, рассказывал нам, новобранцам, что, перейдя границу, когда мы увидим все ужасы капиталистического рабства, нищету крестьянства и рабочего класса, жиреющих за их счет богачей, то будем поражены...

Да мы и были поражены, особенно в Западной Литве — лесистой и болотистой Жемайтии. Деревень там было мало — почти все расположены вокруг

костелов. А так в основном — хутора. Трудолюбивая семья отвоевывала у леса или болота сколько ей надо земли. Строили красивые и прочные бревенчатые избы, хлевы, амбары, сараи. Сажали яблони, вишни, сливы, различные плодовые деревья, ягоды. Появлялись пашни, огороды, в конюшнях — по несколько лошадей, в хлевах — овцы, коровы, свиньи, в птичниках — куры, гуси, утки, индюки, иногда почему-то даже павлины. Где-нибудь поблизости, на взгорке или просто на открытом месте, часто ставили ветряк с алюминиевыми широкими лопастями. Ветряк крутил динамомашину, та заряжала аккумуляторы. На хуторах было электрическое освещение. Богатство, изобилие, созданное собственным трудом. Книг было немного. Кроме неперменной Библии какие-нибудь сельскохозяйственные журналы, редко что-нибудь из беллетристики. В то же время на хуторах была атмосфера гостеприимства, доброжелательства, даже высокой духовности. Что привносило ее: незыблемая ли христианская католическая вера, разумный и прилежный труд ли, слияние ли с природой, все это вместе взятое, или еще что-нибудь? Не знаю. Знаю только, что это так. В пример приведу хотя бы один обычай, из-за которого в Жемайтии невозможно было умереть с голоду. Может, скажете: при чем здесь духовность? Еще как при чем. А обычай такой: если ты голоден, зайди в любой дом, поздоровайся и попроси: «Аш нория коше жемайче» («Я хочу жемайтискую кашу»). Это священная еда. За нее грех не только брать, но и предлагать деньги. Хозяйка тут же изготовит и накормит тебя до отвала. После войны, находясь в археологической экспедиции вместе с моими литовскими товарищами в Жемайтии, понял, в чем смысл картины великого литовского художника Чюрлениса «Сказка королей», или, как ее еще можно назвать, «Дар Богов». Два великих короля или божества, протянув друг другу руки, склонились над литовским хутором, который помещается на их ладонях. А над хутором встает солнце...

Впрочем, тогда я обо всем этом не знал и не думал. Я думал о том, что видел, сопоставлял это с дурацкими россказнями нашего политрука и с тем, что печаталось в «Правде», «Известиях», «Красной звезде» и других наших газетах...

В городах средних и малых (во временной столице Каунасе мне тогда побывать не довелось) поражало неслыханное для нас количество магазинов и лавочек всех видов и ассортиментов, кафе, ресторанов и т. д. Продукты были необычайно свежи, разнообразны, дешевы, вкусны. Особенно привлекательно выглядели мясные магазины, стены которых изнутри были сплошь покрыты белым кафелем, и магазины ломились от всех видов мяса, ветчины, других мясных изделий, свежайших или копченых птиц. Удивительно разнообразны были и, так сказать, промтовары, как литовские, так и импортные из многих стран. Неодинаковость и многообразие товаров в разных магазинах делали их особенно манящими и даже таинственными. Теперь о ценах. Мне показались они неправдоподобно низкими. В Литве в обращении были литы, состоящие из 100 центов, в Латвии — латы, состоящие из 100 сантимов. Лит и лат считались равноценными нашему рублю. Так вот, у нас сливочное масло стоило 26 рублей за килограмм, а в Литве — 2 лита. Костюм из местной ткани стоил 36—40 литов, из английской — 70. Цены на одни и те же продукты и товары несколько варьировались в различных магазинах. Например, в больших магазинах, со стеклянными витринами до пола, цены были несколько выше, зато в маленьких можно было найти совершенно неожиданные, диковинные товары, цены были ниже, да еще можно было поторговаться и выпить кружку превосходного литовского пива или чашку кофе, поболтать с хозяином, а если надо, то и свести знакомство с вполне доступными девушками.

Ну а зарплата? Крестьяне вообще мало что покупали, и того, что они выручали на рынках или у оптовых скупщиков, им вполне хватало. Квалифицированный рабочий получал в среднем 400 литов в месяц. Все остальные цены в соотношениях их с доходами и зарплатой были соответствующими.

... Части Красной Армии, вошедшие в Литву и Латвию (в последней я побывал в Риге и Даугавпилсе), встречали в большинстве очень хорошо, тем более, что наши солдаты, находившиеся на советских военных базах с конца 1939 года в трех прибалтийских государствах в соответствии с навязанными нами пактами о дружбе и взаимод-

помощи, ничего плохого не делали, да и в большинстве были полностью изолированы от местного населения. Но вот летом 1940 года пришли мы, чтобы установить в Прибалтике Советскую власть. Встретили нас довольно радостно. Над Литвой и другими прибалтийскими государствами нависла гитлеровская Германия, представлявшая собой грозную опасность, наглая, бесцеремонная во всем. Так, например, когда Гитлеру что-то не понравилось, он разорвал экономические отношения с Литвой. Производило страшное затоваривание: Литва поставляла Германии много продовольствия. А тут было время, когда в городах служащим и рабочим, к их ужасу, пришлось получать значительную часть зарплаты копчеными гусями. Так что нас встретили радостно и с надеждой. Этому особенно способствовала передача Литве ее древней столицы Вильнюса и округа, входивших после первой мировой войны в Польшу и после раздела ее между Гитлером и Сталиным в 1939 г. отошедших к СССР. Но вскоре энтузиазм поубавился. Германия еще в марте 1939 года захватила Клайпеду, по существу единственный порт Литвы на Балтийском море, а также Клайпедский край. Гитлеровцы тут же нарекли Клайпеду на старонемецкий лад — Мемельсбург и ввели там свои порядки. Здесь между СССР и Германией проходила не граница, а демаркационная линия, на которой происходили различные драматичные события. Довелось и мне служить там, но это особый рассказ. Очень топорно было сработано присоединение Литвы (по существу, захват) к СССР. Летом 1940 г. торглись советские войска. Оккупационные власти разогнали законный литовский сейм, срочно созвали без всяких выборов новый из послушных нашим властям людей. Марионеточный «сейм» проголосовал за присоединение к СССР. Президенту литовской республики Сметоне предъявили ультиматум об утверждении этого «решения» и дали ему на размышление всего несколько часов. Ребята-танкисты говорили мне, что в сад президентского дворца, прямо под окна Сметоны, был введен танк. Водитель его время от времени заводил мотор, чтобы «прочистить президенту мозги», как выразился рассказчик.

Литовскую армию наши части разоружили моментально. Это была очень

маленькая армия (да и откуда взяться большой — население 2 млн 300 тысяч человек), приспособленная для почетного караула, в частности приезде высоких гостей и т. д. Помимо всего прочего, разумность именно такой небольшой армии диктовалась и тем, что Литва была зажата между двумя левиафанами — СССР и Германией, которые в конце концов, как ясно было, договорились между собой насчет судьбы трех прибалтийских государств. Разоружая, мы не встречали сопротивления, только удивленно тарасились на виденные раньше только в кино и театре погони и множество больших медных пуговиц, сверкающих на амуниции.

Литовцы сначала радовались — теперь, казалось, гитлеровская Германия им уже не грозила, они получили свою историческую столицу — Вильнюс, хотя и потеряли Клайпеду. Граница между СССР и Литвой продолжала быть закрытой для всех, не имеющих специальных пропусков. Хождение имели только литовские деньги — литы и центы. Цены, хотя и поднялись, но не слишком. Потом пришла растерянность. Многие советские солдаты и командиры вели себя разнузданно. А вскоре растерянность уступила место другим чувствам. Начались аресты ксендзов и других уважаемых людей (ходили слухи, что и расстрелы). Все большее количество литовцев арестовывали, ссылали в Сибирь, хутора не раз беспощадно разоряли — засыпали колодцы, рубили яблони, разваливали баграми строения... А 13 ноября 1940 года стал одним из самых черных дней в жизни Литвы. В этот день наряду с литовскими деньгами получили право хождения и советские. До того наши командиры получали в литах только небольшую часть жалованья. Остальная же в советских деньгах шла на сберкнижку. Денег там скопилось немало. Началась безумная вакханалия. Как ненавидел я тогда наших командирских жен, «боевых подруг», как их напыщенно официально именовали у нас. Вечно озлобленные пренебрежительным отношением со стороны жен командиров, имеющих более высокое звание, издерганные частыми передислокациями, убожеством армейской жизни, в которой им оставалось только стирать, готовить и в самодеятельных хорах прославлять великого Сталина и мудрую партию боль-

шевиков, да заводить скотские романы с другими командирами и молодыми солдатами, хотя и с опаской, они наконец получили реванш. Они не упустили этого своего шанса. Сняв деньги со сберкнижек, они, как стаи хищниц, кинулись по магазинам. Они не разбирали где что, хватали все, что попадает, и в огромном количестве. Растерявшиеся хозяева магазинов переходили от радости (оборот возрос) к отчаянию — все исчезало молниеносно, стремительное повышение цен ничуть не смущало советских покупателей, а паче покупательниц. Как раз в этот день я получил увольнительную. Из любопытства зашел в ювелирный магазин. Толстая рыжая жена начальника штаба полка властно приказывала хозяину магазина завернуть все украшения, лежащие под стеклом на прилавке. Вне себя я выскочил из магазина. К концу этого дня Литва была разорена. Цены на многие продукты поднялись в несколько раз, а на товары даже в десятки раз. Бесчисленные владельцы магазинов были полностью разорены. Все потонуло в безбрежном море ничего не стоящих советских денег, а литы и центы были вскоре вообще изъяты из обращения. Газеты же, захлебываясь от восторга, писали о том, что спички и соль сильно подешевели. В самом деле в СССР спички стоили пять копеек, а в Литве — 10 центов. Стыдно было в этот черный день быть русским.

Но главное все же заключалось не в этом. Стерпеть репрессии верующая, католическая, не потерявшая человеческого достоинства, главным образом крестьянская, Литва не могла и не хотела. Народ восстал, прежде всего крестьянство, а оно составляло около 80% населения Литвы. Чувство справедливости и собственного достоинства, так характерное для хозяев земли, заставило крестьян и, в особенности, хуторян взяться за оружие. Прав был со своей точки зрения наш великий кормчий, что, едва достигнув единовластия, он первый, сокрушительный уничтожающий удар обрушил на крестьянство...

Аресты, выселения и т. д. в Литве теперь совершали не мы, не армия. Это делали войска НКВД и руководившие ими люди в штатском. Мы служили лишь резервным прикрытием. Все чаще, не успевая энкаведешники ворваться в дом ксендза или окружить хутор, как начинали греметь выстрелы,

из леса появлялись защитники в деревянных башмаках-клумпасах и соломенных шляпах, украшенных вечнозеленым цветком — рутой, которая стала их символом, и тут происходило нечто вроде шахматной рокировки: энкаведешники отступали, а мы выдвигались вперед и завязывали бой с партизанами. Господи, сколько раз я хотел быть убитым в этой перестрелке. Конечно, если бы я сам не стрелял, то об этом бы непременно донесли и меня самого бы расстреляли те же славные чекисты, а уж очень не хотелось умирать от их рук. А то могли бы отправить в штрафной батальон, что та же смерть, только более растянутая и мучительная. Вот только не целился я в людей ни разу. Такие стычки становились все чаще, не раз сопровождалась многокилометровыми бросками по лесам и болотам.

... Получив первую же увольнительную, я прямо из монастыря отправился в магазин «Культура», который заметил, еще когда мы входили в город. Дверь открылась с мелодичным звоном. Хозяин, увидев меня, несмотря на тучность, стремительно выскочил из-за прилавка и бросился навстречу. Почти без акцента он сказал, лъстиво улыбаясь:

— Добро пожаловать, господин советский офицер! Что вам угодно?

— Здравствуйте. Только я не офицер, — ответил я, оглядывая книжные полки. — Хотел бы купить что-нибудь интересное.

— Сию минуту, господин офицер, — понимающе подмигнул хозяин, достал из-под прилавка пачку каких-то открыток и протянул их мне.

— Да говорят вам, не офицер я! — с досадой ответил я и стал рассматривать данную мне пачку. Это были пошлые и безвкусные немецкие порнографические открытки, рассчитанные, видимо, на гитлеровских вояк. С отвращением вернул их хозяину, я сказал:

— Послушайте, как вам не стыдно. Я кончал Московский университет. Зачем мне такая дрянь?

— Вот как, — озадаченно ответил хозяин, — а другие господа советские офицеры, когда я им такое предлагал, были очень довольны...

— Не клеветайте на Красную Армию, — сдержанно и лицемерно оборвал я хозяина.

Он испуганно ахнул, но тут же просыпал:

— Э, извините, я не сразу понял, с кем имею дело, я знаю, что вам нужно, господин, только... — Тут он многозначительно приложил палец к губам и поманил меня за собой.

Я прошел в заднюю комнату и тут увидел на полках множество интереснейших книг, изданных на русском языке одним из рижских издательств: переводные романы и детективы (особенно много Эдгара Уоллеса), мемуары, памфлеты и много другого. Я просто впился в них и потом каждую увольнительную проводил у Юстаса Арвидаса в его «Культуре», причем он неизменно угощал меня чашкой кофе с вкусными пышными булочками. Надеюсь, что его миновала десница НКВД и невзгоды войны.

Бои с партизанами — носителями рутины — учащались со дня на день. Кроме того, убивали солдат, стоявших на часах у продовольственных складов и складов с боеприпасами. Исчезали все чаще солдаты и командиры просто в городе. Увольнительные совсем перестали давать. Как-то, находясь в комендантском патруле, я попросил парника поддержать мою винтовку, а сам заскочил в пивную. Уж очень мне понравилось превосходное литовское пиво, особенно портер и черное бархатное. Пока я пил свою кружку, заметил, что трое парней за соседним столиком смотря на меня долгим, пристальным, оценивающим взглядом и тихо переговариваются; я уловил слово «оккупантос». Сразу почувствовав себя неуютно, я понял, что еще немного и меня здесь прикончат, быстро проглотил пиво, расплатился и вышел на улицу. Кстати, литовские деньги у меня были, потому что сразу после прибытия в Литву я сменял свои сто рублей на сто литов у какого-то очень довольного этой операцией ушача. Признаюсь, я не стал его разочаровывать. Я одним своим присутствием с оружием в руках причинил горе литовцам. В этом мой великий грех. Вовсе не для оправдания, а просто хочу рассказать об одном случае, который произошел, когда я был отправлен вместе со своим отделением в распоряжение коменданта города и стоял часовым у входа в его кабинет. По мере усиления репрессий — арестов, ссылок, выселений и т. д. — росла сумятица среди литовцев и поляков. Множество народа металось по

стране в поисках пропавших близких и родных. Большинство из них обращалось за помощью к нашим военным комендантам. Это было совершенно бесперспективным занятием: коменданты действительно осуществляли фактическую власть на местах, но репрессиями ведало совсем другое ведомство, которое никому, в том числе и комендантам, не подчинялось. А очереди на прием в комендатуру все равно продолжали расти. Вот и в длинной унылой комнате-приемной коменданта, у двери которого я стоял на часах, находилась очередь, тоже унылая, отчаявшаяся, но все равно на что-то надеющаяся. В приемную вошла как-то молодая женщина с грудным ребенком на руках. Она была босая, в выцветшем сатиновом платье, простоволосая, с замечательно милым, как будто знакомым, лицом, обрамленным светлыми спутанными волосами. Ее маленькие, неразбитые, некрестьянские ноги были запылены, на лице застыло выражение безнадежности и тоски. Она, совсем обессиленная, прислонилась к стенке в самом конце очереди. Не выдержав, я закричал что было мочи:

— Разводящий!

Так как ожидать можно было чего угодно, то разводящий примчался тут же из караульного помещения, с вытаращенными глазами и расстегивая на бегу кобуру.

— Стул для этой женщины! — тоном приказа сказал я, указывая на нее рукой. Разводящий обложил меня громогласным матом, но стул все-таки принес. Это было вовремя. Женщина почти упала на стул. Потом, оправившись, расстегнула ворот платья, обнажила маленькую, со светло-коричневым соском грудь и накормила мирно посапывающего ребенка. В это время она до боли была похожа на Мадонну. Да я с тех пор только такой себе Мадонну и представляю. Ни Леонардо, ни Рафаэля, а именно такой.

Часа через два она, наконец, попала в кабинет коменданта и почти тут же вышла из него с каким-то совсем потерянными лицом. Проходя мимо меня, она, не глядя, сказала только одно слово: «Ачу», и навсегда ушла из этой комнаты, из моей жизни, но не из моей памяти. Много позже, когда у меня уже появились друзья среди литовцев, я узнал, что слово «ачу» по-литовски значит «спасибо»...

Но вот поздней осенью нас перевели за город, где мы сами возвели военное поселение, обтянутое двумя рядами колючей проволоки. Жизнь в этом военном городке была нелегкой. Во всякое время суток нас то и дело выдергивали по тревоге на стычки с литовскими партизанами. Кормили плохо. Помимо всего прочего, кроме ежедневных четырех кусочков рафинада, большую часть полагавшегося пайка разворовывали все кому не лень. Положение в полку было ужасное. Наши вожди не раз хвастливо заявляли, что любого врага мы разобьем на его территории, малой кровью и сокрушительными ударами. Что это была пустая и страшная болтовня, показала затеянная нашими хозяевами осенью 1939 года война против героически защищавшейся маленькой Финляндии. Когда «первый маршал», который должен был вести нас в победоносные бои, вообще без толку завалил землю десятками тысяч трупов солдат и командиров Красной Армии, его сняли, правда назначив на престижную должность председателя Совета Обороны. Новый нарком Тимошенко, бывший комбриг Первой Конной армии, тоже завалил трупами наших солдат и офицеров, но уже не просто землю, а доты и другие заграждения линии Маннергейма, перегораживающей Карельский перешеек.

Захваченная у финнов небольшая часть территории — Карельский перешеек до Выборга включительно и получение в аренду для наших военных баз полуострова Ханко — молниеносно возвращенных финнам, как только началась большая война, вот и все, за что мы заплатили столькими десятками тысяч жизней людей моего поколения — тогда молодых, цвета нации.

Новый нарком успел в Дисциплинарный устав Красной Армии, и без того свирепый, внести измененный 20-й параграф. Согласно этому параграфу командир в случае неповиновения имел право и был обязан применять силу и оружие. В такой дикой, беззаконной стране, как наша, это давало широчайший простор для всех видов издевательств и насилий командиров по отношению к подчиненным, в частности для мордобоя. Процветали эти издевательства и мордобой и у нас в полку, особенно в нашей курсантской роте, готовившей младших лейтенан-

тов и потому состоящей из людей со средним и высшим образованием.

В полк я попал вместе с восемью выпускниками Московского университета — нам едва дали сдать экзамены и получить распределение. Попали мы в курсантскую роту и ужаснулись. Подавляющее большинство ребят в роте — вчерашние десятиклассники, беззащитные и доверчивые. А командовали нами совершенно невежественные, тупые люди, если их вообще можно назвать людьми. Они в нашей роте особенно зверствовали — может быть, хотели отомстить за то, что мы образованные, а они — нет, а может, и чувствовали, мразь поганая, страх десятиклассников и презрение со стороны нас — университетских. Больше всего доставалось вчерашним школярам. Самые тяжелые и унижительные, да еще и внеочередные наряды: чистить бездонные армейские сортиры, разгружать уголь из вагонов на станции и многое другое, а главное — непрерывный мордобой. К тому времени, как мы прибыли в полк, уже четверо таких парнишек покончили жизнь самоубийством — все наши. В роте у нас особенно часто бил солдат по лицу командир второго взвода младший лейтенант Малашкин. Прошло некоторое время, пока мы, выпускники МГУ, посововетовавшись, приняли решение и кинули жребий.

Однажды вечером, перед отбоем, происходила ежесуточная проверка на вшивость. Роту выстраивали в две шеренги вдоль нар. Надо было раздеться до пояса и продемонстрировать дежурному подмышки. Это было форменное издевательство. В условиях частых неожиданных тревог мы вообще не раздевались. На ночь снимали обмотки и ботинки, расслабляли ремень, да растегивали ворот гимнастерки, чтобы целлулоидный подворотничок так не давил на шею. И так приказной по регламенту минуты еле хватало, чтобы соскочить с нар, успеть привести себя в порядок и прихватить винтовку. Лежали мы на нарах почти впритык друг к другу. А баня, полагавшаяся раз в десять дней, часто бывала только с холодной водой. В этих условиях вши, да еще в огромном количестве, были у всех. Мы давили их, но толку от этого было мало — их становилось все больше и больше. Я уже хорошо различал две породы вшей — маленьких, почти черных, особенно зловредных, как бы

пилящих кожу пилкой, и побольше — серых, скребущих, медленно ползающих, ленивых, и каких-то еще с красной точкой в удлиннном, как у инфузории, теле, впрочем, может быть, просто напившихся крови.

Так вот, мы кинули жребий. Он, как на грех, выпал на меня. После вечерней проверки на вшивость, одевшись, я пошел к Малашкину и, взяв под козырек, сказал:

— Товарищ младший лейтенант, разрешите обратиться?

— Что надо? — сквозь зубы процедил Малашкин.

— Важный разговор, товарищ младший лейтенант, давайте выйдем из казармы.

Заинтригованный Малашкин вышел и тут же оказался в плотном кольце из девяти выпускников МГУ. Я сказал ему:

— Если ты, сука, еще раз кого-нибудь хотя бы пальцем тронешь, то ты после этого проживешь часов 10—12. Это ты проживешь, но больше — ни минуты.

Малашкин поблдевел и онемел от страха. Он понимал, что это не пустые слова. Почти каждые сутки нас посылали на постыдные бои с литовскими партизанами. В этих условиях совершенно незаметно можно было всадить ему пулю в затылок, в лоб, да вообще куда душа пожелает. А дальше: «Геройски погиб при исполнении воинского долга». Малашкин явно не хотел стать героем. Губы его дрожали, сам он мелко трясся. Мы не торопясь вернулись в казарму. С тех пор Малашкин действительно полностью прекратил мордобой, а вслед за ним, поняв, что тут не до шуток, и другие командиры нашей роты. Впрочем, по поводу мордобоя у меня с армией свои личные счеы, но об этом ниже.

Не обошла эта участь и мою семью. У меня был горячо любимым мной двоюродный брат Юра, ласковый, тихий, на три года моложе меня. Мы росли вместе и очень друг друга любили. Он попал в армию раньше меня — сразу же по окончании школы, еще летом 1939 года. Служил он в дивизии, дислоцированной неподалеку от Москвы. До демобилизации ему оставалось совсем немного. 3 марта 1941 года он принимал участие в лыжных соревнованиях Московского гарнизона. Лыжник он был отменный. Шедший сзади него его ротный командир потребовал, чтобы Юра освободил ему лыжню. Он отказался. Тогда вечером, уже в казар-

ме, ротный командир дал ему пощечину. Все перенес Юра: муштру, издевательства, тяжелые походы, финскую войну, во время которой он отморозил руку, а этого не перенес. Он пошел в Ленинскую комнату — единственную, где можно было уединиться. Написал три записки. Одну — родителям: «Простите за доставленные неприятности — это — последняя»; другую — своей невесте и третьей мне: «Ты должен понять и запомнить». Потом он снял сапог, размотал портянку, большой палец ноги положил на спусковой крючок винтовки, дуло всунул в рот и выстрелил. Как раз в этот день прибыл я по командировочному расписанию в Москву. Хотел было тут же, после отметки, поехать к брату, но так устал, так саднило все тело от вшей; что решил: приму ванну, отдохну, мама горячим утюгом передавит вшей, а завтра с утра — к Юре. Если бы я наплевал на вшей и усталость и тут же поехал бы к нему, то он, возможно, остался бы жив. Но я не поехал, я не поехал...

Ты просишь меня понять и запомнить, брат! Я понял и запомнил. И я рассчитываю с ними. Конечно, не их методами, а нашими. То, что я сейчас пишу, — ведь это и есть часть расплаты...

В нашей роте мордобой прекратился задолго до того приказа, но служба все равно была непомерно тяжелой, главным образом из-за ее несправедности и полного идиотизма.

Например, командир третьего батальона, капитан Корпусов, любил, когда его измученный за день батальон шел строем в столовую, положить какую-нибудь из рот в снег и заставить ее метров пятьсот ползти до столовой по-пластунски, да и много другого придумывал, особенно на хмельную башку. Война была на носу, это каждый понимал, и в батальоне открыто говорили: «Начнется — первая пуля капитану Корпусову, а уж вторая — немцу». Правда, на тот свет его отправила все-таки не русская, а немецкая пуля.

Под Новый, 1941 год, около часа ночи, когда измученные солдаты крепко спали, к нам в барак неожиданно явился совершенно пьяный старший лейтенант, исполняющий обязанности командира батальона (потом говорили, что это жена его за безобразное поведение выгнала из дому). Роту по тревоге подняли и выстроили вдоль нар. Ротный старшина Хряпкин, тупая и

злобная скотина, откуда-то притащил плетеное кресло, в которое и плюхнулся красный, как от натуги, старший лейтенант с мутными глазами. Держа роту по стойке смирно, сначала он долго и хвастливо рассказывал о своей славной военной карьере и рассказ этот закончил словами: «И вот теперь я — комбат». Это было враньем. Комбат капитан Никонов, раненный в боях с литовскими партизанами, отлеживался в медсанбате, а он только временно исполнял его обязанности. Потом старший лейтенант приказал каждому из нас пройти перед ним парадным строевым шагом, отдавая честь и повернув к нему лицо. Тут же он громко оценивал: «отлично», «хорошо», «плохо» и «ничего не скажу». Я удостоился последней загадочной, но вряд ли лестной оценки «ничего не скажу» и был очень доволен. Так мы встретили Новый год. А потом наш полк сделали из стрелкового мотострелковым. Выразилось это в том, что возле бараков на столбиках водрузили громадные ящики, видимо имитирующие кузова грузовиков и бронетранспортеров (настоящих не было и в помине). Усталые после стычек с партизанами или учебных стрельб, или хозяйственных нарядов, мы должны были многократно запрыгивать в эти ящики и выпрыгивать из них. А еще вместо, пусть и устаревших, но надежных трехлинейек нам выдали дурацкие десятизарядные винтовки, у которых то и дело заедал патрон при досылке его в ствол, а также дали автоматы ППШ — пистолет-пулемет Шпитального, круглые диски которых тоже нередко перекашивало. Война была на носу. На демаркационной линии возле Клайпеды не смолкал шум подходящей немецкой военной техники. Идиллические отношения между нашими и немецкими солдатами на демаркационной линии (с обменом сигарет на папиросы, с дружескими похлопываниями по плечам) давно сменились враждебными. Гитлеровцы уже вторглись в связанную с нами союзным договором Югославию, а наши агитаторы все еще носили греков за то, что они, сопротивляясь немецким оккупантам, расширяют фронт войны...

От внешнего мира наш военный городок был напрочь изолирован. Увольнительных не давали или почти не давали — да и куда пойти? Вокруг снега, до города несколько километров, да и

в самом городе и по дороге к нему можно было запросто отправиться к праотцам. Слушать же нашу самодеятельность, в основном хор безголосят и лишенных слуха командирских жен, не было ни сил, ни желания.

Поэтому солдаты охотно шли в откомандирование в другие части, хотя обычно это было совсем небезопасно. Ведь откомандировывали туда, где погорячее. Из разумных, неидеотических занятий было, по-моему, только два: дежурство на кухне и расчистка снега. Впрочем, и тут еще бабушка надвое сказала. Измотанные до предела солдаты картошку, например, чистили несколькими ударами ножа, оставляя лишь небольшой белый кубик. Две трети, а то и больше, шло в отходы, не без выгоды для интендантов. Это тоже была одна из причин, почему мы всегда ходили полуголодные. А расчистка снега, в особенности на подъезде к городку, облегчала посещение его начальством, что, как известно, ничего хорошего не сулит...

Мне очень повезло. На целый месяц я был освобожден от строевой службы и всех нарядов, так как командир полка майор Маслов приказал мне написать историю нашего славного непобедимого полка. Сначала я думал увильнуть от этого весьма сомнительного поручения, но потом вспомнил вольноопределяющегося Марека из бессмертного произведения Гашека и вдохновился его примером. Ведь Марека тоже писал историю своего полка, и я решил пойти его путем. Кстати, знакомство солдата с командиром полка — случай почти невероятный. Ведь в армии нельзя миновать ни одного вышестоящего командира, а от солдата до командира полка их множество: командир отделения, помкомвзвода, старшина роты, командир взвода — обычно младший лейтенант, командир роты, командир батальона, иногда и начальник штаба, а также его помощники, начальник штаба полка, помощник командира полка по политчасти (комиссар) и наконец сам командир полка. А между ними еще полно всяких ординарцев, адъютантов, порученцев и т. д.

У меня же получилось так, что из-за страшного гнева, который я вызвал у начальника штаба полка, я познакомился с его командиром и проникся к нему большим уважением и симпатией, как и к его милой, бесконечно

деликатной и доброй жене — Зое Михайловне . . .

. . . Ссора с начальником штаба полка произошла совершенно случайно. Нам выдавали не сапоги, а обмотки и тяжелые ботинки с толстыми, но дрянными подошвами (картонными, что ли?). Да и то не новые, а второго и третьего сроков.

За лето, пока мы лазили по лесам и болотам, почти все ботинки прохудились. А зимой в дырки, особенно со стороны носка, стал набиваться снег. От долгих маршей он таял, но потом снова замерзал. Все у большего числа курсантов появились обморожения ног, пальцы гноились. Кое-кто попал в медсанбат. И вот как-то нашу роту выстроили повзводно перед казармой, и остановившийся перед вторым взводом начальник штаба полка майор Коршунов, пуча серо-белесые глаза, стал орать хриплым командирским голосом:

— Маленькие сынки, барчуки, так вашу мать. Ножки у них, у херовых курсантов, разомлели. Всех вас, ублюдков, в штрафной батальон отправляю . . . — И все в таком же роде.

Вдруг кто-то из задних рядов крикнул:

— Чем орать, лучше бы обувь крепкую выдали!

Майор побагровел, поперхнулся, а потом, еще больше выкатив глаза, заревел:

— Кто это сказал! Выйти из строя!

Я стоял в первом ряду, но как-то само собой получилось, сделал два шага вперед, козырнул и отрапортовал:

— Это я сказал, товарищ майор.

Коршунов удивленно пробурчал:

— Нет, это кто-то сзади.

Но меня уже понесло:

— Не имеет значения, товарищ майор, я тоже так думаю.

— Четыре наряда вне очереди, — прохрипел, задыхаясь от злости, майор.

Положение мое после этого стало незавидным. Все чаще и чаще посылали меня вместе с другими подобными мне проштрафившимися на прикрытие трусливых энкаведешних карателей. Внеочередные наряды сыпались один за другим, и я приготовился к самому худшему.

И вот однажды, глубокой ночью, меня дернул за ногу посыльный из штаба полка и сказал:

— Федоров, по тревоге к начальнику штаба, быстро!

Еще не проснувшись толком, я обулся, подхватил винтовку и бегом, в сопровождении посыльного направился к Коршунову. Доложил.

— Товарищ майор! Курсант Федоров по вашему приказанию явился!

И вдруг Коршунов сказал мне чуть ли не отеческим тоном:

— Ну что вы так официально, товарищ Федоров. Поставьте винтовку к стене, садитесь, поговорим.

В полном изумлении я промямлил:

— Слушаюсь.

Прислонил винтовку и сел на край стула, напротив майора. А он стал говорить мечтательно и многозначительно:

— Вот так служишь и не знаешь, какие люди у тебя под командой. — Тут он как бы с опаской искоса взглянул на меня. — А люди попадают ой-ой какие, — и он назидательно поднял кверху указательный палец.

В полном недоумении я продолжал слушать. А майор продолжал:

— Вот вы, например, человек образованный. Небось и Хехеля читали?

— Да, доводилось, товарищ майор, — пробормотал я.

— А что вы его читали? — полюбопытствовал Коршунов.

— Ну, вот, например, «Философию истории», — ответил я, все еще ничего не понимая.

— Ну и как? — осведомился майор.

— Да умно и интересно, хотя и нелегко понять, — ответил я, начиная находить забавной эту таинственную игру.

— Да, — согласился Коршунов, — здорово этот немчура пишет, а может, он из этих? Но ведь идеалист, идеалист, — сказал он назидательно.

— Это точно, это есть, — ответил я и подумал: «На кой черт ему понадобилось поднимать меня в два часа ночи по тревоге, чтобы беседовать о Гегеле, которого он явно не читал?» (Да и я не был совсем по этой части специалистом.)

Между тем майор продолжал каким-то интимным тоном:

— Да, вот так служишь и не знаешь, какие в полку люди, а люди-то есть та-а-а-кие, — протянул он и продолжал: — Тут на ваше имя фельдъегерская почта прибыла, пакет то есть, из Пятого управления Наркомата обороны.

Тут я, наконец, все понял, присосанился и постарался состроить глубокомысленно серьезную мину. Дело в том, что мой друг еще с университетских времен, Юлий Цезаревич Босис, служил в это время в Наркомате обороны, в самом деле в Пятом, разведывательном его управлении. Он явно послал мне письмо через экспедицию управления, не без основания рассчитывая, что такое письмо произведет впечатление на моих командиров и тем может облегчить мою жизнь солдата захудалого армейского полка.

Между тем майор вытащил из сейфа и протянул мне довольно большой красивый пакет с пятью сургучными печатями и типографской надписью сверху, в которой крупно значилось: «Пятое Управление Наркомата Обороны СССР».

Взломав печати, вскрыв пакет, я вытащил письмо Юлика и пробежал его. Так и есть. Сообщив всякие новости и попросив меня ответить ему, Юлик в конце написал: «Посылаю тебе письмо в служебном пакете и фельдьегерской почтой. Может быть, оно тебе поможет в отношениях с твоими балбесами-командирами».

Я со значительным видом положил письмо обратно в пакет и сунул его за пазуху. Коршунов же, сгорая от любопытства и почтения, спросил:

— Скажите, а какие у вас отношения с Пятым управлением?

— Не имею права разглашать, товарищ майор, — отчеканил я. — Служба!

— Да-да, я понимаю, конечно, — засуетился Коршунов, искательно улыбаясь, — это я так, знаете ли, проверить, — неожиданно и жалко хихикнул он. — Вы свободны, товарищ Федоров, желаю успеха в вашей деятельности.

— Служу Советскому Союзу, — рявкнул я, козырнул и вернулся к себе на нары.

С тех пор Коршунов не только перестал меня шпынять, но, видимо, и общился командиру полка о загадочном солдате. Как-то майор Маслов вызвал меня к себе. Служака он был отменный, но человек справедливый и глубоко порядочный. Он стал давать мне время от времени различные поручения, то деликатные, то просто интересные, а то и опасные, но всегда требующие сообразительности, которую я и старался, по мере сил, проявлять. Хотя никаких поблажек я не получал и не хотел, но между нами установились

доверительные отношения, и от меня командир многое узнал из того, что действительно происходило в полку. Однажды я рассказал ему и о проделке Юлика с фельдьегерской почтой. Борис Семенович очень смеялся, обещал мне хранить тайну, но все же рассказал об этом своей жене Зое Михайловне, которая ответила, что уже давно молится о том, чтобы мне было хорошо . . .

Командир полка как-то поручил мне составить полковую библиотеку, для чего выделил значительные средства и отправил в командировку в Москву. Я накупил в букинистических магазинах много хороших книг: Флобера, Ахматову, Гумилева, Киплинга, Гауптмана, Гамсуна, Сервантеса, Волошина, Тютчева, Оскара Уайльда, Гофмана, О'Генри, Генриха и Томаса Маннов, Марка Твена, Ибсена, Конан Дойля и много других. Образованные командиры (а такие изредка встречались, особенно в артиллерийских частях) приезжали в нашу библиотеку не только из соседних полков, но и из других дивизий. Сам командир дивизии — тупой усач из бывших буденновцев-конармейцев, тем не менее гордился нашей библиотекой и ставил Маслова всем в пример.

И вот теперь приказ: написать историю нашего полка. Поразмыслив, я понял, что со времен бравого солдата Швейка в армии мало что изменилось и писать эту историю нужно точно по таким же рецептам, что и вольноопределяющийся Марек, нисколько не заботясь не только об исторической достоверности, но даже и о правдоподобии. Работа спорилась . . . Правда, иногда меня все же посылали в составе частей прикрытия . . .

. . . В это темное мартовское утро я, чтобы избежать воплей Хряпкина, еще до подъема соскочил с нар, обул ботинки, замотал обмотки, надел шинель, буденовку и тихонько вышел из барака. В сумраке занимающегося утра особенно уныло выглядели заснеженные бараки, большие сугробы между ними, покрытая инеем колючая проволока.

Я решил зайти в библиотеку. Она помещалась в холодном неотапливаемом клубе — таком же бараке, как и тот, в котором обитала наша рота, но только из обрезных досок. В клубе было еще холоднее, чем на улице, да и сыро. Я вытащил было ключ, но не успел подойти к двери библиотеки, как вдруг

услышал звуки гармоники. Это было чудо какое-то в холодном, мертвом бараке. Невидимый гармонист играл широко известный тогда романс:

Веселья час и боль разлуки
Хочу делить с тобой всегда.

Давай пожмем друг другу руки
И в дальний путь на долгие года.
Мы так близки, что слов не нужно,
Чтоб повторять друг другу вновь,
Что наша нежность и наша дружба
Сильнее страсти и больше, чем
любовь . . .

Я пошел на звуки гармоники, дошел почти до конца коридора и открыл дверь, из-за которой эти звуки слышались. В комнате было очень тепло. Жарко топились печь в углу. Наискосок от нее верхом на лавке сидели друг против друга два солдата. Между ними стоял котелок с гречневой кашей, в которой виднелись кусочки мяса. В углу на табуретке сидел парень и играл на гармошке. Это была обыкновенная дутрядка, да еще, видимо, здорово потрепанная: из нее время от времени слышались какие-то произвольные пошвысты и вздохи. Но парень, слегка склонив голову набок, играл с большим воодушевлением. Я заметил свободную табуретку, подсел к лавке, вытащил из-за обмотки ложку и тоже стал есть кашу.

— Давай, давай. — поощрительно сказал один из сидевших на лавке, горбоносый и черноволосый, видимо грузин. Поев, я облизал ложку, снова всунул ее за обмотку и огляделся. Тут я заметил, что другой солдат, сидевший на лавке, белобрысый и веснушчатый, с ярко-синими глазами, без ремня, а потом обратил внимание, что винтовок в комнате всего две — они мирно приткнулись в одном из углов. Поняв, в чем дело, я спросил синеглазого:

— За что тебя?

Но прежде чем он успел ответить, гармонист перестал играть и важно сказал:

— Да драпанул он.

— Как это? — опешил я.

— Как, как, — передразнил меня гармонист, — не сообразишь, что ли, дурья башка? Дезертир он, дезертир, теперь понял?

Да, теперь я понял, хотя и не все. Ясно, что он арестован за дезертирство, что судьба его страшна и что стражники ему сочувствуют и стараются потрафить, чем могут.

— Ну, чего ты? — обратился я к дезертиру. — Куда здесь бежать? Все равно или Литва придавит, или наши сволочи схватят, а это еще хуже.

Синеглазый шмыгнул своим курносим носом и сказал:

— Тоска, — и повторил: — Тоска.

Это единственное слово для постороннего ничего не значило. Но я не был посторонним. В нем для меня заключалось очень многое. Парнишку я раньше не знал, он был из другого подразделения. Я спросил:

— Как тебя звать? Откуда ты родом?

— Сережа, — спокойно ответил синеглазый. — Из деревенских мы, Орловской области.

— Послушай, отстань, не тяни душу, — вмешался грузин, а гармонист снова заиграл, на этот раз с трудом узнаваемый вальс «Дунайские волны». Я погладил синеглазого по плечу и вышел из комнаты. Пока шел по коридору, меня как по лицу ударила вся несправедливость, преступность того, что мы делали здесь в Литве, все горе, которое мы принесли и продолжаем приносить людям, весь идиотизм и мерзость нашего армейского быта. А ведь и вправду — тоска.

Весь этот день ручка валилась у меня из рук и я не написал ни одной строчки из славной героической истории нашего полка.

. . . Среди ночи раздался сигнал тревоги. Мы вскочили и построились. Ротный командир старший лейтенант Богданов — человек недалекий, но и не вредный, прохаживаясь вдоль строя, хрипло сказал:

— Часа полтора назад из-под стражи бежал дезертир рядовой Петров. Конвойные это проспали, а когда хватились и выскочили за вахту, его и след простыл. Начальник штаба полка майор Коршунов приказал нашей роте изловить дезертира и живого или мертвого доставить его в штаб. У меня на карте-двухверстке для каждого отделения указан квадрат его поиска. Первый взвод, налево! Ко мне, шагом марш!

Наш взвод, во главе с энемичным и тупым младшим лейтенантом Зубровым, подошел к ротному. Богданов разложил на столе карту и при свете фонаря стал указывать каждому отделению его квадрат. Когда очередь дошла до нашего отделения, он указал мне квадрат и спросил:

— Задача понятна?

— Так точно, товарищ старший лейтенант, — отчеканил я. — Разрешите выполнять? Изловить дезертира и довести его в штаб полка. Так?

— Выполняйте, — сухо сказал Богданов.

Разобрав винтовки, мы вышли через вахту в поле. Был сильный снегопад. Крупные, влажные хлопья снега падали сплошной стеной.

Еще до того, как мы начали строить военный городок, куда-то выселили всех жителей в радиусе нескольких километров. Дворы со всеми строениями и дома разнесли. Остались только стога соломы в поле и сена — на луго. Как раз в нашем квадрате было несколько стогов сена. Когда мы дошли до первого из них, я отдал команду:

— Стой. Примкнуть штыки.

Мой друг Фима, из каменец-подольских евреев-земледельцев, тихо сказал мне:

— Ты что, сдвинулся?

— Боец Латер, — осадил я его, — выполнять приказ.

Фима пожал могучими плечами и примкнул штык.

Тогда я отдал следующий приказ:

— Каждому штыком в стоге сделать ямку и закопаться. А то замерзнуть можно.

Ребята молча выполнили команду. Я взглянул на часы. Ровно через два часа приказал:

— Выходи. Забросать ямки, снять штыки, почистить друг друга.

После того как эта команда была выполнена, я повел отделение в наш военный городок и доложил Богданову:

— Товарищ старший лейтенант! Квадрат прочесан, дезертир не обнаружен.

Мне показалось, что Богданов взглянул на меня с облегчением. Во всяком случае, он почти по-домашнему сказал:

— Хорошо, а теперь идите отдыхать.

Мы протерли и поставили винтовки в стойки, повесили мокрые шинели на гвозди, сняли ботинки и забрались на нары.

— Да, — сказал Фима, который был моим соседом, — Москва-таки столица.

— А как ты думаешь, никто не стукнет? — спросил я.

— Ребята свои, — медленно ответил Фима. — Кроме того, каждый знает — если стукнет, будет иметь дело со

мною, веселый разговор. А жить-то каждому охота.

... Этот день был еще более утомителен, чем другие, но мне не спалось. Уже после подъема в казарму вошел Богданов и после рапорта старшины Хряпкина сказал:

— Дезертир задержан военным патрулем на станции железной дороги. В расположение полка из штаба дивизии прибыл военный трибунал и сейчас, наверное, уже заседает.

В столовой во время завтрака у меня кусок не лез в горло. Я думал: «Эх, Сережа, Сережа, ну куда ты кинулся? На станции! Да еще без шинели и даже без ремня. Да там тебя всякая шкура, какая не лень, сцапала бы».

После завтрака, едва мы занялись idiotскими прыжками в ящики и из них, нашу злосчастную роту снова дернули за десяток километров для прикрытия очеркешников, которые разорвали очеркешный хутор. Но и «Ру-та» не дремала. Потеряв четырех человек убитыми и семерых ранеными, из которых одного тяжело — в живот, мы вернулись незадолго до обеда в казарму, но ни отдохнуть, ни пообедать нам на этот раз не пришлось. Раздалась общеполковая тревога. Полк был выстроен в виде буквы «П» на плацу в центре военного городка. Снегопад прекратился еще до того.

Вышел помощник командира старший батальонный комиссар Лукьяненко и зычным голосом зачитал приговор военного трибунала:

— За двойное дезертирство — расстрел перед строем.

Потом под барабанный бой два конвоира вывели Сережу, поставили его в центре свободной стороны прямоугольника и быстро ушли. Барабанный бой прекратился. Петлицы на гимнастерке Сережи были спороты. Он стоял совершенно спокойно, слегка выдвинув правую ногу вперед. Я находился в строю недалеко от него и все хотел поймать его взгляд, чтобы как-то обсудить, чтобы он знал, что и я и многие другие его не осуждают. Но он не смотрел ни на кого из нас. Он слегка закинул голову и смотрел на небо.

Вдруг я, похолодев от ужаса, подумал: а что если расстреливать придется нашему отделению? Безостановочные, лихорадочные мысли пронеслись у меня в голове: убью того, кто

постарше чином, забросаю гранатами штабных, убегу... и другая чепуха.

Не знаю, что было бы в этом случае, но комиссар вызвал отделение совсем из другой роты и даже из другого батальона.

Младший политрук с двумя кубарями на петлицах тонким, срывающимся голосом торопливо скомандовал отделение, выстроившемуся в одну шеренгу напротив Сережи, метрах в тридцати от него:

— Готовься!

Солдаты взяли наизготовку. Лязгнули затворы. В отчаянии вспомнил я две строки из стихотворения Уткина:

Зачем им дюжина стволов,
И одного вполне довольно.

А политрук закричал:

— Целься! Пли!

Раздался залп. Сережа упал на свежий чистый снег, мягкий как перина. Упал, не подогнув колени, навзничь, на спину. Только с одного бока слегка подтекло. Мертвые, широко раскрытые глаза его продолжали смотреть в небо, которое, в этот солнечный мартовский день, было такого же цвета, как и глаза.

Комиссар скомандовал:

— Полк, разойдись!

Двое каких-то незнакомых мне солдат положили Сережу на носилки и почти бегом унесли его в сторону медсанбата, скорее всего в помещение, приспособленное под морг, куда клали наших убитых в бою и самоубийц...

... Урну с пеплом брата я увидел гораздо позже в нише стены Новодевичьего монастыря.

Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

ФРАГМЕНТ ИЗ КНИГИ «60-е»

ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОЛЕМИКА

Правда должна быть бесспорным понятием в стране, где этим словом называется главная газета.

Может быть, поэтому 60-е потрясло официальное заявление, что не все в «Правде» было правдой. Не все, не всегда, и даже не часто.

Собственно, правда появилась сразу после смерти Сталина. Тогда, в новомировской статье В. Померанцева, она называлась еще искренностью. Но в 60-е правда уже без всяких эвфемизмов появилась на страницах партийной прессы.

Прессе это ничем не грозило, потому что больше всего правды говорил ее прямой начальник — первый секретарь ЦК КПСС.

Бесспорный бестселлер советской прессы 60-х — Заключительный доклад Хрущева на XXII съезде — строился на

драматическом конфликте между стремлением автора рассказать правду и намерением Молотова—Кагановича ее скрыть. За это, кстати, а не за свои предыдущие преступления, фракционеры поплатились.

Но правда была шире партийных интриг. Она не помещалась даже на обширных газетных полосах. Сам Хрущев не обладал ею полностью, что, кстати, придавало докладу детективный характер.

Самым важным результатом XXII съезда, возможно, было не то, что он сказал правду, а то, что он сказал не всю правду, что какую-то ее часть он предоставил договорить обществу.

Хрущев пригласил всю страну участвовать в поисках истины. Задавая съезду опасный вопрос: «Возможно ли появление различных мнений в отдельные периоды, особенно на переломных этапах?», он сам отвечал твердо и ясно: «Возможно».

Призыв Хрущева был услышан. Разъяснение правды стало общенародным делом.

Разрешенная съездом полемика эпидемией прокатилась по Советскому Союзу. Диспут стал формой общественной жизни. Вопросительный знак

Петр ВАЙЛЬ (1949 г. р.) и Александр ГЕНИС (1953 г. р.) — бывшие рижане, уехали в США в 1977 году, живут в Нью-Йорке. Пишут в основном о проблемах русской культуры по обе стороны границы. Авторы четырех книг: «Современная русская проза», «Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета», «Русская кухня в изгнании», «60-е».

решительно заменил восклицательный. Истину можно было найти только в споре. Любую истину — «Есть ли жизнь на Марсе?», «Физики или лирики?», «Чего же ты хочешь?», «Что делать?».

Но все эти вопросы составляли только фрагменты одного главного — как построить коммунизм?

Поиски ответа на этот вопрос разделили общество на две антагонистические группы. Одну возглавил редактор «Нового мира», автор бессмертного (в 60-е — буквально) Твардовского А. Т. Твардовский.

Его съездовская речь представляла собой ясную программу реализации хрущевских тезисов. Строилась она, естественно, на главном из них — правде, которую Твардовский упомянул девять раз, включая однокоренные слова и исключая название газеты.

Дело писателя, «настоящего помощника партии», подготовить «нравственное обеспечение коммунизма», следуя «примеру той смелости, прямоты и правдивости, который показывает партия».

Несмотря на то, что речь Твардовского была лояльным послесловием к докладу Хрущева, она немедленно встретила отпор лидера тогдашней оппозиции, редактора «Октября» В. А. Кочетова. В своем агрессивном выступлении он тоже сформулировал программу деятельности, смысл которой сводился к охране завоеваний социализма.

Кочетов решительно отменил упреки «лакировщикам действительности», разоблачил «зстетствующих критиков», «формалистическое трюкачество», «золотые медали», «лавровые венки» и даже «боярские расписные терема».

Всему этому он противопоставил право писателя писать о «делах и думах старополюских колхозников и о металлургах Урала». Заниматься этой литературой должны были поименно указанные писатели в количестве 38 человек, от Михаила Шолохова до Ивана Мельниченко.

Объективно кочетовская программа была направлена не только против Твардовского, но и против Хрущева. Не случайно правда в ней упоминалась только однажды, да и то в цитате из партийных документов.

Так, даже не выходя из Дворца съездов, вожди «либералов» и «охранителей» начали отчаянную борьбу между

правдой и кривдой. Борьбу, которая заполнила собой 60-е, придав им незабываемый полемический характер.

Схватка началась в неравных условиях. У левых была огромная фора, материальная реализация которой — вынос тела Сталина из Мавзолея — не заставила себя ждать.

Более того, фактически главным либералом вообще был самый главный человек в стране. Только Хрущеву позволялось доходить в говорении правды до кощунственных пределов (например, обличать не только Сталина, но и президиум сталинского ЦК).

На стороне левых была партия, правительство и будущий коммунизм. У правых было только прошлое — завоевание Октября и уже построенный социализм, который их враги хотели разломать ради грядущего.

Силы были явно неравны, поэтому нет ничего удивительного, что все новое и интересное в 60-е происходило в лагере либералов и их бастионе — «Новом мире».

Однако немедленному торжеству правды мешала незавершенность XXII съезда. Сказав основное (про Сталина и коммунизм), съезд неосторожно переложил на плечи общественности дальнейшее уточнение правды. И общественность приняла задачу всерьез.

Настоящая правда оказалась такой же многоликой, как и предыдущая ложь. Начавшись с политики, она проникла во все области советской жизни, безвозвратно изменив ее.

Твардовский сразу приспособил эту правду к главной идеологической силе в стране — к литературе. Он сделал девизом своего журнала бескомпромиссный реализм, который понимался предельно просто — «правда о жизни».

Если раньше писатель изображал жизнь в преломлении магического кристалла (коммунистические убеждения), то теперь — так, как есть.

Образцы, указанные Твардовским на съезде, — «Районные будни» В. Овечкина, «Деревенский дневник» Е. Дороша и замолчанный, но подразумеваемый роман В. Дудинцева «Не хлебом единым», — явились приглашением к делу. То есть, к правде во всей ее полноте, включая и неприятные оттенки этой полноты.

Художественная логика новомировского реализма вела к тому, что отрицательным сторонам жизни противо-

стоят не положительные, а стремление раскрыть правду об отрицательных.

Наглядно эта логика проявляется, например, в программной повести В. Войновича «Хочу быть честным». Герой, разоблачая ложь, находит опору не во вмешательстве правильного секретаря (как было раньше), а в собственном нравственном императиве, вынесенном в заголовок.

Так правда в смысле «истина о чем-нибудь» (например, о трубах или коллективизации) смыкалась с правдой-справедливостью. Частная, конкретная истина превращалась в отдельные проявления всеобщей нравственной Правды, которая уже не могла писаться с маленькой буквы из-за своей близости к заветной утопии.

Каждое разоблачение обмана работало на улучшение общества, на ускорение его пути к идеалу. В этом и заключался благородный и возвышенный смысл программы Твардовского. И по этому пути шли писатели, ею вдохновленные, — В. Быков, В. Белов, Ч. Айтматов, Б. Можаяев, Г. Троепольский, В. Шукшин, В. Тендряков, Ю. Домбровский, К. Воробьев, Ю. Трифонов, С. Залыгин, Г. Владимов, В. Войнович, В. Семин и многие другие.

Писатели, входящие в этот список, выгодно отличались от когорты Кочетова тем, что, теоретически разделяя с «Октябрем» общие цели, практически создавали идеальное общество не в утопическом будущем, а в реальном настоящем.

Подлинный, истинный социалистический строй существовал только внутри синих обложек «Нового мира».

Как всегда в России, наиболее емко, четко и последовательно идеал выразил литературный критик — Владимир Лакшин. И, как всегда в России, лучше всего он это сделал подпольным образом, в самиздате. Когда было, откровенно говоря, уже поздно (1975).

В своем апологетическом очерке, отвечающем на критику Солженицына, Лакшин постулировал цели и методы «Нового мира».

Твардовский и его журнал верили в «коммунизм как счастливое общество демократии и равенства». Партбилет, свидетельствовавший о «гипертрофированном чувстве долга», давал не права, а обязанности (сам Лакшин вступил в партию в напряженном 1966 году). И главная обязанность коммунистов — просвещать народ: «Новый мир» при-

вивал своим читателям «умение думать, сознавать реальность своего положения и стремиться к лучшему».

По Лакшину получалось, что даже если и нельзя построить коммунизм в одной, отдельно взятой стране, то это возможно сделать в одном, отдельно взятом журнале.

Действительно, никто в России не подходил так близко к коммунистическим идеалам, как авторы и читатели «Нового мира».

Писатели, критики, ученые, печатавшиеся здесь, создавали немислимый симбиоз веры и правды — они знали, как есть, и верили, что так не будет.

Просветительский пафос, давно разведенный скепсисом на своей европейской родине, еще пышно цвел в «Новом мире». Журнал верил в возможность человечества быть счастливым.

Возразить журналу было нечего. Вера не логическая категория, а эмоциональное состояние, которому нет дела до аргументов. Бессмысленно и подтверждать и опровергать ее. Но это не мешает вере изменять жизнь.

Главным, если не единственным инструментом «Нового мира» была правда. Ради нее можно и нужно было идти на жертвы, которые сами по себе были немалыми, — художественный эксперимент, чистое искусство. Литература получила четкую задачу — воссоздавать «правду жизни». Шаг в сторону считался побегом.

Новомировская эстетика, созданная тем же В. Лакшиным, принципиально не отличала литературу от действительности. Критик изучает жизнь по книгам, уверенный в адекватности первого второму. По сути, литературный критик становился критиком просто, человеком, анализирующим и направляющим социальные тенденции.

Лакшин видел в литературных героях типы, взятые из реальности, а своей задачей считал возвращение их из литературы в жизнь. Его анализ всегда начинается с фразы: «обычная черта такого сорта людей...»

Людьми он называет вымышленных существ, рожденных фантазией писателя. Конечно, Лакшин видел это противоречие, но снимал его при помощи ключевого понятия своей эстетики, кратко выраженной в названии знаменитого рассказа А. Яшина — «Рычаги».

В сложном деле строительства идеала все и вся должно участвовать в общем труде. Рычаги коммунизма — это

и космонавт, и балерина, и сам критик, и персонажи, с которыми он имеет дело. Стратегия определяет тактику, цель — средства.

Эта несколько вульгарная функциональная идеология была в 60-е абсолютно тотальна. Поэтому, скажем, А. Синявский в статье о романе И. Шевцова «Тля» обвиняет автора в том, что он «выступил в роли очернителя нашей жизни и культуры». Тактические соображения тут превалируют над другими соображениями, уже высказанными к тому времени Абрамом Терцем.

Атмосфера беспощадной борьбы правых и левых, правды и кривды придавала полемике действенный характер. По идее, споры должны были кончаться выводами, лучше — оргвыводами.

Но эта же атмосфера открывала для идеологической жизни страны высокое полемическое искусство.

Вообще-то, ни в идеалах 60-х, ни в правде, которой они поклонялись, не было ничего нового. Все это, включая новомировскую эстетику, всего лишь повторение прошлых веков — просветительского восемнадцатого, революционно-демократического девятнадцатого.

Когда утихли полемические баталии, вдруг стало заметно, что самым интересным было не что хотели сказать 60-е, а как. Не какую правду они открыли народу, а — каким образом они это делали.

К нетленным общим идеалам эта эпоха ничего существенного не прибавила. (Разве что коммунизм обзавелся человеческим лицом.) Но по пути к будущему 60-е создали уникальную разветвленную полемическую систему, пережившую свою эпоху и оказавшую огромное влияние на все советское общество.

Суть этой хитроумной системы в том, что правду, великую и главную, нельзя было высказать прямо.

Вернее, это уже сделали, и правду можно было прочесть на любом заборе. Однако трактовка висящих на заборе лозунгов оставалась туманной. Коммунизм был несомненен, но тем сложнее, да и рискованней, был вопрос — как его понимать?

Элементарный ответ — партийные документы — на самом деле являлся жульнической фикцией. Сама партия не могла определить смысл своего существования. Она хитрила, запутывая

дело бессмысленными, невнятными, противоречивыми формулировками. Из всех речей, брошюр, постановлений и решений нельзя было однозначно выснить партийную позицию. Как любой сакральный текст, партийные документы подлежали бесконечным трактовкам. (Такую возможность продемонстрировала, кстати, редакция Третьей программы КПСС 1969 года, полностью извратившая хрущевские доктрины, не отменив ни одной из них.)

Принципиальная невнятность партийной идеологии происходила оттого, что формы и методы реализации абстрактного идеала должны были обнаружиться как раз в той самой полемике, которая заполнила 60-е. Партийная истина должна была родиться в споре. Ее и составляли враждующие стороны — Шолохов и Солженицын, Кочетов и Твардовский, «Молодая гвардия» и «Юность». Все вместе они образовали идеологическое течение эпохи, внутри которого весьма хаотически перемещалась КПСС, оснащенная не «единодушно верным учением», а реальной карательно-поощрительной силой.

Самым простым, но и самым ограниченным способом воздействия на партию было — сказать ей правду в глаза. Например, о «тяжелых временах, когда никто не был застрахован от произвола и репрессий». После Хрущева это делали многие — от бунтаря Евтушенко до студента Ермилова.

Собственно, к этому и призывал Твардовский на съезде, предлагая писателям не повторять «Правду», а говорить ее — «о хозяйственной, о производственной жизни страны... о духовной жизни нашего человека».

Обо всем этом действительно немало сказал «Новый мир». И сделал это, как например Ф. Абрамов или Б. Можяев, прямо, честно, не кривя душой.

Однако разоблачительная деятельность не привела к желаемым результатам. Критики справа видели в ней очернительство, критики слева — не понимали, как разоблачение одних пороков предостережет появление других, считая, что осуществление идеала зависит не от обличения, допустим, сталинских преступлений, а от того, смогут ли массы воспитаться и просветиться. То есть станут ли они личностями — самостоятельными, свободными, мыслящими.

И тогда массы стали воспитываться на примере. В ход пошли высшие

достижения духовной жизни человечества — классика.

60-е — эпоха расцвета литературно-исторической аналогии. Прошлое нужно было не столько, чтобы скрыть от партийного цензора авторские намерения, сколько наоборот — чтобы открыть ему глаза на них.

Все острые вопросы современности решались и в открытом диспуте, и в исторических декорациях. На Таганке тогда шла «Жизнь Галилея», в «Современнике» — «Декабристы» и «Народовольцы», МХАТ ставил «Ревизора», Козинцев снимал «Гамлета».

Исторические параллели давали 60-м культурную перспективу, вставляли эту локальную эпоху в мировой исторический процесс для сегодняшнего общества. Александр Островский, например, в траговке Лакшина, поучал современников: «Без нравственной опоры, морального стержня ни таланту, ни уму нет дороги: он обречен падать и вырождаться».

Эта сентенция близка к той, что приводится в «Моральном кодексе строителя коммунизма» — «высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов». Но у Лакшина общий принцип конкретизируется в авторитетном и подробно разобранным примере.

Никто не думал бороться с высоким нравственным уроком классиков, но в Советском Союзе искусство отказывалось действовать напрямую. При всей интенсивности посева разумного, доброго, вечного, жатва оказывалась такой же сомнительной, как во все времена¹.

Даже тогда, когда литературе поручали «в нужную минуту предупредить о грозящих нравственных и социальных опасностях», она не становилась волшебным рычагом. В конце концов, о чем еще, если не о социальных и нравственных опасностях, писали в «Новом мире»?

В 60-е годы общество, с одной стороны, сопротивлялось проповеди, с другой — подчинялось ей. Дидактиче-

ские намерения убивали идею, оживляя ее — риск. Мораль могла быть услышана, только если ее провозглашали с тайного амвона.

Поэтому общество пропускало мимо ушей урок «Морального кодекса», но внимательно прислушивалось к тому, о чем говорила современная и заостренная постановка Островского.

Феномен этот называется — эзопов язык.

Теоретик эзопова языка Л. Лосев определяет это явление как особую литературную систему, «структура которой делает возможной взаимосвязь автора и читателя, скрывая одновременно от цензора непозволительное содержание».

Из трех участников этого увлекательного действия главным кажется цензор. По сути, он и является автором эзопова текста.

Писатель творит по его указке, или, точнее, по антиуказке. Но при этом фигура цензора абсолютно аморфна. Условия игры не позволяют ему назвать — что является «непозволительным содержанием». Его должен эмпирическим путем нащупать сам автор.

К тому же перечень запретных тем все время меняется. Если в начале 60-х сталинские репрессии назывались сталинскими репрессиями, то в конце 60-х они получили сложное наименование «нарушения законности, отмеченные нашей памятью о 1937 году».

Можно ли сказать, что в последнем примере автор скрыл от цензора свои мысли? Вряд ли. Тактика эзопова языка должна же предполагать существование необычайно глупого цензора. И непонятно, почему цензор должен быть обязательно глупее читателя?

Вероятно, истинную цензуру представляет не конкретное ведомство, а критерий общественных приличий. Текст зашифровывается не только для того, чтобы обмануть цензуру, но и для того, чтобы не оскорбить читателя чересчур откровенным высказыванием. Рискованный намек (политического, национального, эротического характера) втягивает читателя и автора в художественное поле иносказания.

Чтобы реальный объект стал предметом искусства, он должен хоть немного обобщиться, потерять грубую однозначность, завуалироваться. То есть должна выстроиться дистанция между жизнью и вымыслом. Это обогащает текст дополнительными значе-

¹ От искусства ждали слишком много. «Без искусства и общей культуры государство теряет способность к самокритике, принимается поощрять ошибочные тенденции, начинает ежесекундно порождать лицемеров и подонков, развивает в гражданах потребительство и самонадеянность». — А. и Б. Стругацкие. Трудно быть богом. М., 1966, с. 125.

ниями, позволяет некоторое разнообразие трактовок, превращает реально-го человека в персонажа.

Специфика советской жизни способствовала появлению грандиозной эзоповой системы. Почти любое понятие, имя, явление могли получить эзопов обертон. Сталин трансформировался в усатого батьку, Хрущев — в проявленные волюнтаризма, еврей — в инвалида пятой группы, женщина — в товарища, 37 год — в опричнину, половой член — в члена Политбюро. Система эта настолько тотальна, что мысль, выраженная внеэзоповыми средствами, представлялась либо плоской, либо — даже — невозможной.

В 60-е поэтика эзопова языка создала свой метамир. Намеки теряют связь с тем, на что намекают. Эзопов язык постепенно отчуждается от породившей его эмпирической реальности.

Если проделать мысленный эксперимент и заменить эзоповы термины теми понятиями, которые они подразумевают, то мы обнаружим, что 60-е остались без литературы и искусства. Даже дружеская беседа превратилась в обмен декларациями.

Конечно, эзопов язык всегда подлежал внутренней декодировке. Но одновременно он существовал и в нерасшифрованном виде. Так, наряду с прозаическими еврейями в обществе при существовали и более таинственные «маланцы» из повести Войновича.

Усложнение эзоповой системы в 60-е годы не увеличивало количества правды, контрабандой пронесенной мимо цензора, а обогатило эту правду, превращая ее в искусство.

Примечания к Свифту соотносят его эзопову книгу к политическим реалиям парламентской борьбы XVIII века. Но расшифрованный Гулливер уже не имеет отношения ни к его приключениям, ни к литературе в целом.

Мир, в котором эзопова словесность замещает обыкновенную, требует особого способа восприятия. Читатель становится не пассивным субъектом воздействия, а активным соавтором его. Более того, читатель превращается в члена особой партии, вступает в сообщество понимающих, в заговор людей, овладевших тайным — эзоповым — языком.

Дело это всегда веселое. Даже если зашифровке подвергаются самые мрачные детали советской действительности, на долю читателя всегда

остается улыбка авгура. Как пишет Л. Лосев: «Внутренним содержанием эзоповского произведения является катарсис, переживаемый читателем как победа над репрессивной властью».

Можно добавить, что торжество читателя объясняется не только одуряченным цензором, но и победой непрямого слова над прямым.

Вместо того, чтобы слушать проповедь, читатель участвует в ее создании. Эзопов язык дает возможность творческого соучастия. И в этом процессе уничтожается унизительное распределение ролей на ведущих и ведомых.

Произведение обретает свой истинный смысл (иногда и без ведома автора) только в восприятии всезнающего и всепонимающего читателя. Цензор же, чья функция казалась столь важной, уподобляется всего лишь приему замедления, вроде описания природы перед заключительными страницами детектива.

Распад эзоповой системы ощущался трагедией не столько писателями, сколько читателями, которые потеряли свое особое положение соавторов.

(Любопытно, как ностальгия по эзоповым 60-м проявляется в эмиграции, где отсутствие цензуры сделало кодирование текста бессмысленным. Скажем, в солидном исследовании о советской литературе, изданном эмигрантским издательством, Сталин по-прежнему называется «рыжим конопатым грузином». Инерция эзопова восприятия мира сильней условий, вызвавших этот феномен. И это еще раз свидетельствует о том, что не суть высказанной в 60-е годы правды, а форма этого высказывания определила развитие советской ментальности в послеоттепельный период.)

Эзопов язык, даже в самом широком понимании этого явления, был только частью еще более глобальной культурной системы-иронии.

Эзопов язык подразумевал существование языка просто. Сократив имя Солженицына до «Исаич», автор известного эзопова стихотворения «Белый бакен» уверен, что читатель знает полное имя-отчество писателя. И хотя лирический «Исаич» живет жизнью, несколько отличной от реального Александра Исаевича, связь их несомненна и обязательна.

С иронией все обстоит сложнее. Она только делает вид, что называет вещи противоположными их сущности име-

нами. Это только школьный учебник считает, что Крылов иронизирует, называя осла «умной головой». И только люди, поверившие учебнику, способны назвать иронию — «тонкой насмешкой».

С иронией все хуже, потому что, издаваясь над действительностью, безжалостно высмеивая ее, она не знает, какой эта действительность должна быть.

Появление иронии в 60-е — от младенческой «молодежной» прозы до трагической «поэмы» Венедикта Ерофеева — было глубоко закономерным явлением. Ирония стала главным препятствием на пути социального прогресса, поступательным движением которого она и была вызвана к жизни. Ее старались то игнорировать, то приспособить к делу, с ней воевали, но победить ее не могли.

А. Сиявский в пророческой статье 1957 года «Что такое социалистический реализм» констатировал: «Ирония неизменный спутник безверия и сомнения, она исчезает, как только появляется вера, не допускающая кощунства».

И действительно, пока в первой половине 60-х в обществе господствовала вера, иронии отводилась крыловская роль. Она прятала хорошие чувства под маской еще более хороших. Допустим, называла будни — «героическими», застенчиво скрывая газетным штампом штамп художественный.

Но когда поиски правды заполнили страну, насытили ее телеологической деятельностью до предела, ирония проявила свою истинную кощунственную сущность.

Ирония усомнилась в цели. Не отрицала ее, не выдвигала противоположную, а именно усомнилась. И в самой цели, и в том, что она есть, и даже в том, что цель может быть вообще.

Серьезность иронии как противника 60-е обнаружили тогда, когда поняли, что ее нельзя расшифровать, как это можно было сделать, скажем, с эзоповым языком. Отрицая, ирония ничего не утверждает, оставаясь неуязвимой для встречной критики.

Кажется, что иронический писатель издавается над идеалом потому, что тот разнится с авторским. Но перевернув ироническое высказывание, мы не обнаружим там осла, скрывающегося под именем «умной головы». Его там нет.

Иронией автор маскирует незнание того, что он мог бы сказать напрямую. Кощунство иронии — в ее пустоте. Это — маска, под которой нет лица.

Ирония смеется не над чем-то, а над всем, в том числе и над собой. Когда автору нечего сказать, он иронизирует. Но при этом ироническое поле, созданное писателем, порождает самостоятельное содержание. Может быть, даже не содержание, а метод, взгляд, мировоззрение.

Ирония, не зная правды, учит тому, как без нее жить.

Говоря о «великой иронической культуре XIX века», А. Сиявский дает описание процесса, ее создавшего: «Само слабое соприкосновение с Богом влекло отрицание, а отрицание Его вызывало тоску по неосуществленной вере».

Чем старше становились 60-е, тем заметнее становилась амплитуда этих качелей. Приближение к идеалу вызывало все более сильное отвержение его. Это не могло не породить глобальной иронии.

Иронической энциклопедией 60-х годов была прославленная, но не совсем понятая тогда книга А. Белинкова «Юрий Тынянов».

Поскольку главной проблемой 60-х было соотношение правды и лжи, то в Белинкове увидели еще один вариант «Нового мира». Тем более, что автор дал четкое определение своего положительного героя: «Нормальный, то есть протестующий против социальной несправедливости, человек».

Исследуя приключения этого человека в мире социальной несправедливости, Белинков обставил повествование феерическим калейдоскопом иронических приемов. Для создания тотального иронического поля он применял все мыслимые средства — особую поэтику сноски, знаки препинания, скобки, многословие, буквализм, тавтологию, педантические дефиниции, абзац².

² Авторы не могут отказать себе в удовольствии привести пример белинковского иронии: «При всем этом в произведении О. Форш не все написано великолепно и не каждая строка поражает воображение читателя». К этому абзацу автор дает одну из своих знаменитых сносок: «М. Марич, коснувшись в «романе из эпохи декабристов» «Северное сияние» Южного общества, не продолжает список, начатый Ю. Тыняновым и О. Форш, так как ее роман повествует главным образом о том,

Кроме всего прочего, Белинков дал советскому читателю урок чтения между строк, собственно — урок образцового литературного анализа.

Однако, как ни упивался читатель изысканной дерзостью Белинкова, («Юрий Тынянов» был шире и опасной игры с цензурой, и своего названия, и даже авторского намерения).

Белинкова интересовало взаимоотношение человека и общества, ярче всего проявляющееся в момент революции. Не только Октябрьской, как поспешно решили все, кто читал книгу в 60-е, но революции вообще.

Ясно показав, что любая революция, уничтожив одну реакцию, порождает другую, еще худшую («проекты декабристов ничего, кроме тех же, что есть, или новых поработанных, дать не могут»), Белинков столкнулся с кардинальным вопросом русской истории: что делать?

Не веря в возможность утопического развития общества, он остановился на проблеме личности. В книге Белинков подробно показывает, как тыняновский герой, Грибоедов, понимая вред революции, от этого понимания становится Молчалиным. В терминах критика 60-х это означало, что даже если не верить в правду, отказаться от борьбы за нее нельзя. Парадоксальная логика этого утверждения вела к тому, что революции не нужны, а революционеры — необходимы, ибо только в готовой к величайшим жертвам оппозиции рождается истинная культура, главный критерий которой — критика действительности. «Вся великая русская литература — это лишь то, что осталось, что не удалось уничтожить, что не было погублено в жестокой и беспощадной борьбе с нею».

Трагическая ирония белинковского произведения заключалась в том, что уже не веря в возможность правды, он не мог отказаться от сопротивления лжи. И его героям, и ему самому ложь (абсолютная монархия, советская

что, «кромсать шуршащий шелк, лионский бархат, тафту и пышные «шу», собирать кружева и из всего этого создавать красивые наряды куда интереснее, чем воспитывать избалованную, капризную Адель». Ни к северному, ни к южному декабризму, ни к другим этапам и пунктам русского освободительного движения, ни к художественной литературе «все это» прямого отношения не имеет». — А. Белинков. Юрий Тынянов. М., 1965, изд. второе (!), с. 150.

власть, третье отделение, комитет безопасности) нужнее, чем правда. Свобода, за которую они боролись, была не средством, а целью.

Афористическое отражение создавшегося положения стало программным лозунгом советской интеллигенции: «Если ничего нельзя сделать, то нужно все видеть, все понимать, не дать обмануть себя и ни с чем не соглашаться».

Однако ограниченность такой программы вскоре доказал пример самого Белинкова. В 1969 году, совершив побег, он оказался на Западе. Приобретая свободу, Белинков потерял врага.

Вторая часть его книги об Олеше, написанная за границей, разительно отличается от первой. Герои Белинкова, выйдя из иронического поля автора, не сказали ничего нового по сравнению с тем, что они говорили, находясь в этом поле. Они сделались менее глубокими и более декларативными. Иронический пафос, став пафосом просто, потерял свою подспудную многозначность.

Ирония расцветает тогда, когда у автора нет идеала, с которым он мог бы сопоставить действительность. Ирония всегда обманывает читателя, всегда обещает больше, чем знает. Но она делает свое великое и кошмарное дело, разоблачая ложь, не говоря правды.

Ирония указывает не цель жизни, но способ ее.

Полемика начала 60-х ставила перед собой весьма узкие и весьма прагматические задачи — улучшить советское общество. Однако правда, ставшая естественным инструментом преобразований, не могла долго оставаться в предписанных ей рамках.

Если считать истину объективной существующей, а именно этого требовал от советского народа Ленин (объективная истина «не зависит ни от человека, ни от человечества»), то стремление к ней неизбежно придет в противоречие с верой, которая ни в какой истине не нуждается.

60-е убедились в этом, испытав правду во всех сферах жизни.

Начав с выяснения деталей подлинной истории (публикация стенограмм прошлых съездов, например), пришлось перейти и к другим нежелательным занятиям. Так, в «Новом мире» появилась статья В. Кардина «Легенды и факты», в которой предлагалось фактами заменить легенды. Среди

последних оказался залп крейсера «Аврора»: залпа не было.

Кардин отбирал у истории символ. Это не означало отмены всей революции, как говорили критики, но свидетельствовало о тенденции: отменить историческую модель, не предложив взамен ничего, кроме правды.

Публицистика, воодушевленная разоблачительным порывом XXII съезда, скоро пришла к выводу, что правда несовместима с реальной политической жизнью страны, например с пятилетним планом.

В экономике 60-х попытались ввести в социалистическое хозяйство реальные (правдивые) категории, вроде прибыли и самоокупаемости.

В науке правда предопределила расцвет естествознания. Генетика заменила Лысенко, кибернетика попыталась заменить бюрократию.

Даже в эстетике, вопреки новомировскому направлению³, структурализм сочетал правду с искусством, анализируя текст как самостоятельное и самодостаточное явление.

Путь частной правды к общей истине нашел свое символическое завершение в дискуссии по поводу статьи В. Эфроимсона «Родословная альтруизма».

Появившись в «Новом мире» в 1971 году, эта статья как бы подводила итог 60-м. Логика эпохи вела к слиянию правды-истины с правдой-справедливостью, что уравнивало точное знание с знанием нравственным. И вот профессор-генетик пишет: «В наследственной природе человека заложено нечто такое, что вечно влечет его к справедливости, к подвигам, к самоотверженности».

Вообще-то раньше это нечто называлось душой, но инерция еще требовала облечь открытие в научную форму объективной истины. Следующая эпоха от этих форм отказалась.

Поистине судьбоносным моментом в развитии советского общества конца 60-х стала публикация романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Эта книга

совершила переворот в сознании советского интеллигента: Булгаков предложил и, что в России особенно важно, художественно обосновал совершенно отличную от привычных концепцию вселенной.

В мире Булгакова — «история не развивается, а длится». Прогресс, и социальный, и научно-технический, представляется фикцией. Вселенная есть вечная гармония, сочетающая ночь и день, тьму и свет, зло и добро. Предназначение человека, по Булгакову, — творческое восприятие мира, равнозначное включение личности в вечный идеальный порядок. Понять мир значит воссоздать его, значит принять его.

Тезис, который критики 60-х сделали лозунгом — «Рукописи не горят» — вскоре обнаружил свою метафизическую, а не социальную сущность. Рукопись — это истина о мире, но это и сам мир. Такая диалектика уже никак не соответствовала упрощенным просветельским представлениям 60-х.

Так эволюция правды привела 60-е к идее абсолютной истины. Идеалы этих лет, — научно-технический прогресс, законность, путь нравственного усовершенствования, — придя к своему логическому завершению, отменили специфику главного идеала — коммунизма. Социалистическая законность должна была обернуться парламентской демократией, а тезис о просвещении масс — привести к христианскому пониманию личности, при котором ген альтруизма был малоотличим от искры Божьей.

Коммунизм, строящийся при помощи правды, терял всякую связь с уже построенным социализмом. Советская история лишалась смысла. Произошло то, о чем еще в самом начале 60-х охранители предупреждали партию: завоевания Октября оказались лишними; советский образ жизни, во всем его своеобразии, — неправильным; больше всего построению коммунизма мешала коммунистическая партия.

Либеральная программа потерпела крах не столько под ударами консер-

³ Впрочем, к середине 60-х даже Твардовский обнаружил тенденцию к отходу от собственной программы. Так, он написал тонкую и глубокую статью о творчестве Бунина, в которой, среди прочего, говорилось: «Мы долго придавали мастерству письма лишь второстепенное значение...» — А. Твардовский. О Бунине. «Новый мир», 1965, № 7, с. 228.

⁴ В 1969 году, например, в «Новом мире» появилась рецензия Е. Савина «Проблемы и перспективы социалистической демократии», в которой осторожно предлагалось вернуть процедуре выборов реальный смысл, введя несколько кандидатов на каждую должность («Новый мир», 1969, № 5, с. 264—269).

вативной власти, сколько ввиду своих собственных противоречий.

Лакшин объяснял причины краха противоречивостью человеческой природы: «Любой шаг в гуманистическом совершенствовании социальной структуры дается с немалым трудом и чреват откатами, разочарованиями и душевными катастрофами».

Выдвигая условием осуществления утопии духовное совершенствование человека, либералы из «Нового мира» возвращали историю советского государства в общечеловеческое русло. Оказалось, что они строили не то общество, которое собирались. Вместо научного коммунизма в выводах забрезжил христианский рай, частным случаем которого, по русской традиции, обрисовывался Запад.

Полемика 60-х, завершившаяся разгромом «Нового мира», формированием нелегальной оппозиции и движением религиозного возрождения, подвела итог эпохе.

СССР переставал быть уникальным утопическим образованием, превращаясь в рядовую сверхдержаву.

КТО ВИНОВАТ! ДИССИДЕНТСТВО

То явление, которое позже назвали диссидентством, возникло незаметно. Собственно, когда его участники получили это иностранное имя, все и кончилось. Не зря сами диссиденты неохотно называли себя так, предпочитая дословный перевод — «инакомыслящие». Это было все же теплее чужеродного звучания с присвистом: «диссидент». Разница между этими словами примерно как между «локомотивом» и «паровозом»: первое, может и значительнее, но дальше, второе — приземленнее и роднее. Назвать клуб «Локомотив» — можно, «Паровоз» — никак. В литературоцентристском российском обществе эти нюансы имеют огромное значение. Потому и слово «инакомыслящие» тоже не вызывает очень уж положительных эмоций, как любое слово с отрицанием и противопоставлением (анти-, контр- и т. п.). Название «правозащитники» оказалось удачнее — в нем звучала «права».

Но все эти варианты возникли позже — когда движение протеста понемногу обрело обобщенное. Понадобилось всем — западному радио, советским газетам, массовому разгово-

ному языку. Но именно тогда никакого обобщенного движения уже не было.

Произошел парадокс: когда появились названия, теории, имена — движение дробилось на ряд фракций с многообразием организационных форм, идеологических направлений, тактических схем. А о некоем цельном диссидентстве можно было говорить, когда сами диссиденты не имели понятия — кто они такие и как называются. Именно и только в начальном периоде движения, когда не было ни программ, ни уставов, когда главным ругательством были слова «партия» и «организация», диссиденты являли собой относительное единство — партию порядочных людей.

Речь идет о факте не политическом, а общественном. У диссидентства нет истории в традиционном смысле: нет основателей, теоретиков, даты учредительного съезда, манифеста. По сути дела, невозможно даже определить (особенно на ранних этапах) — кто был участником движения протеста.

Прежние «инакомыслящие» были определеннее, традиционнее: троцкисты, уклонисты, космополиты, убийцы в белых халатах. Они всегда хотели чего-то конкретного: отменить колхозы, электрификацию, обороноспособность, залечить насмерть Политбюро, «нашу слепающую сестру Белоруссию» расчленивать и отдать на откуп диктатору Камеруна». Фантастичность преступлений блекла по сравнению с чудовищностью самого факта несогласия с установленным порядком вещей.

Диссиденты 60-х не предлагали ничего такого, что уже не было проклармировано властью. Партия призвала к искренности — они говорили правду. Газеты писали о восстановлении «норм законности» — диссиденты соблюдали законы тщательнее прокуратуры. С трибун твердили о необходимости критики — диссиденты последовательно этим занимались. Слова «культ личности» стали бранными после хрущевских разоблачений Сталина — для многих путь в инакомыслие начался с опасения нового культа.

Писатель Юрий Даниэль именно этим объяснял побудительный мотив написания повести «Говорит Москва»: «... Мы видели, как снова замелькало со страниц газет и на афишах одно имя, как снова самое банальное и грубое выражение этого человека преподносится

нам как откровение, как квинтэссенция мудрости . . .»

В словах этих речь идет о 1960—1961 гг. — то есть о либеральнейшем периоде хрущевского правления. Но художник слова Даниэль протестует эстетически: в конечном счете для него важна даже не суть — дремучий тиран или просвещенный властитель — а необходимость разрушения стилистического стереотипа. Хватит «мудрейших», хватит «корифеев всех наук», хватит «гениев всех времен и народов».

Насущная потребность сменить жанровую и стилевую системы общества и породила инакомыслие. Закономерно первые шаги этого движения сделали поэты, художники, писатели. Закономерно из поэтических чтений у памятника Маяковскому, из одной компании вышли лидеры столь различных направлений диссидентства, как Эдуард Кузнецов (условно — «сионист»), Владимир Осипов («славянофил»), Владимир Букровский («демократ»).

Культурная оппозиция возникла раньше любой другой и проявилась с наибольшей активностью — еще и в силу вековых российских традиций, согласно которым литература и искусство заменяют все общественные институты.

Переполненные редакции и издательства (Хрущев заявил, что только на лагерные темы в журналы поступило более 10 000 воспоминаний) выплеснули поток авторов в свободное функционирование — самиздат. Самиздатские авторы выгодно отличались от официальных стилевой пестротой и быстрой реакцией на установление нормативов: как только тема или жанр закреплялись печатно, самиздат открывал новые формы.

Диссиденты потому и являлись диссидентами, что даже если говорили нечто в унисон с официозом, то говорили это иначе.

Вообще термин «инакомыслие» неточен, потому что самым существенным в диссидентстве было инакодействие, инакословие. То есть в конечном счете — противопоставление общепринятому языку и стилю своего стиля и своего языка. С этим прежде всего связаны победы и поражения диссидентства — не конкретные и разовые, а глубинные и долговременные. В тех случаях, когда движение протеста принимало язык и стиль противника — оно проигрывало. Когда разрабатывало

свои оригинальные методы — имело успех.

В этом смысле показательна эволюция идеи правозащиты. Правовая оппозиция оказалась самой действенной, потому что была конкретной и внятной: надо требовать от государства соблюдения его собственных законов. Над идеей, впервые выдвинутой Александром Есениным-Вольпиным, витал благородный дух гуманизма: осознающая свои права личность и соблюдающее их государство должны прийти к гармоничному соответствию. Усматривался в этой позиции и тактический прием: нельзя требовать сразу слишком многого, пусть власть сначала научится применять свои законы, а потом можно будет перейти к их изменению.

Правозащитное движение тем не менее имело и выраженный эстетический мотив: иной принцип чтения текста — не трактовать, а воспринимать буквально.

Мысль оказалась поначалу замечательной и эффективной. Юридическая литература стремительно исчезла из магазинов и библиотек. Бестселлером был «Уголовно-процессуальный кодекс», и развитые диссиденты без труда побивали обленившихся юристов. Правозащитники резвились на территории противника, пользуясь его собственным оружием, — это и оказалось решающим фактором. Когда прошла ошеломляющая новизна, осталось главное: власть знала тот язык, на котором говорили с ней диссиденты, и если даже проигрывала в отдельных стычках, то в полной мере могла использовать его стратегическое преимущество — например, то, что она все-таки власть. Поднаторевший в юриспруденции интеллигент обрушивал лавину неопровержимых доводов, которые тут же опровергались совершенно неинтеллигентным приговором.

Углубление в правовую специфику порождало профессионалов среди любителей: правозащитное движение знало виртуозов своего дела — таких, как Вольпин, Чалидзе, Юлиус Телесин, Владимир Альбрехт. Неизбежно юридическая игра замыкалась сама на себя, превращаясь в схоластическое упрямство. «На вопрос следователя: «Давали ли вы для прочтения и если давали, то кому, ваше заявление № 3?» — Юлиус отвечал: «Ответом на ваш вопрос № 9 может служить мой ответ № 7», — так что к концу допроса ни следова-

тель, ни Телесин, ни, тем более, читатель протокола не могли понять, что на что является ответом».

Правозащитная тактика в силу своей конкретности в постановке задач была господствующей в диссидентстве, и Андрей Амальрик вспоминал: «Я заспорил со священником Сергием Желудковым, говоря, что мы к власти можем обращаться только с вопросами формально-правового порядка, но не идейного: мы не можем обсуждать наши идеи с теми, кто сажает за идеи в тюрьму. И почти убедил его в своей правоте — чтоб затем самому в ней усомниться».

Действительно, идея может противостоять только идея. (Не танки.) Вопросы «формально-правового порядка» уместны в демократически развитом обществе. Диссиденты же, ведя себя как свободные люди в несвободной стране, опередили события. Проще говоря — проиграла. Но это в том случае, если считать целью победу. А целью и было средство — свободное поведение, создание прецедента, формирование общественного мнения. Но это уже идея — нравственная оппозиция.

Отвечая на извечный вопрос российской интеллигенции — кто виноват? — самые последовательные из советских интеллигентов ответили: мы. Конечно, в плане социальном это несерьезный ответ. Кто такие «мы»? И как же действовать конкретно, если виноват каждый? Универсальность и расплывчатость подобных ответов ничего общего и не имеет с языком социальных преобразований, все это — из другого словаря: религиозных движений. Каясь и идя на жертву, диссиденты ни к чему не призывали, но являли пример.

В этом суть и смысл главного события нравственной жизни страны того времени — кампании писем протеста. Подписанты, как их неблагозвучно называли, совершали некий сакральный акт, заклиная черные силы собственной жизнью и судьбой. Дальнейшее протекло по известным образцам, только вместо костра было партсобрание, побивание камнями трансформировалось в увольнение с работы. Подписавший протест человек необратимо менялся, даже если потом служил другим убеждениям: память о подвиге по-новому освещала весь жизненный путь. Для российской специфики характерно, что к катарсису вели сугубо писательские

действия — сочинение текста, подпись под ним как признание авторства.

И началом массового движения протеста стало дело двух литераторов — Андрея Синявского и Юлия Даниэля⁵. На суде они отстаивали сочиненные ими тексты и с гордостью признавали свое авторство. Именно этим занялись участники кампании петиций в защиту двух писателей.

Диссидентство как акт творчества — так можно трактовать побудительный мотив, толкнувший к разрушению своей карьеры и положению многих вполне благополучных членов советского общества. Стремление наполнить свою жизнь, сделать ее интересной — интеллигентский метод освоения мира. Если видеть главную ценность именно в творчестве, а не в славе, власти и деньгах, то станет ясно, «чего им еще не хватало» — признанным ученым, благополучным инженерам, известным писателям.

Советские психиатры были, в общем-то, правы, утверждая ненормальность этих людей. Они в той же мере психически отклонены от нормы, как поэты или религиозные подвижники. Не является и не может являться нормой творчески насыщенная жизнь, достигающая пика в привлекательном мученичестве подвига. «Я ждал этого суда как праздника» — Владимир Буковский. «То был самый жуткий момент моей жизни. Но это был и мой звездный час» — Петр Григоренко.

Разумеется, существовал и социальный момент побудительного мотива диссидентов, а именно: наблюдение над жизнью и осознание разрыва между теорией и практикой советского общества. Но как ребенок, столкнувшийся с лицемерным миром взрослых, предпочитает взрослеть сам, двойное «орвелловское» сознание прекрасно существовало в стране. Не мирились с ним лишь одиночки с повышенным творческим потенциалом. Интересно, что сам генезис общественного протеста Буковский определяет в эстетических терминах. «Что черное — это

⁵ «Днем рождения правозащитного движения можно считать 5 декабря 1965 года, когда в Москве на Пушкинской площади состоялась первая демонстрация под правозащитными лозунгами... «Требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем!» и «Уважайте Советскую конституцию!» — История инакомыслия, с. 240, 251.

белое, мы уже привыкли. Что красное — это зеленое, нас убедили. Что голубое — это фиолетовое, мы сами согласились, черт с ним! Но теперь еще и синее — это не синее, а желтое? Хватит!»

Несогласие с уродством социальной гаммы требовало реакции, естественным образом творческая личность противопоставляла несовершенному миру — себя.

Расширенное понимание профессионализма в Советском Союзе (в отличие от ставки на узкую специализацию на Западе) требует от художника не только хорошо рисовать, но и иметь разряд по альпинизму, химик должен играть на гитаре, инженер — в бридж. Самовыражение не позволяет замыкаться в узкой области, вынося дополнительные потенции на суд приятельского мнения.

Кухонные компании, болтовня под бутылку, институт дружеского трепа — нет и не может быть более высокого творческого накала, более яростного кипения страстей. Высшая российская ценность — дружеское общение — легла в основу зарождающегося общественного мнения. Невозможно представить себе ничего более увлекательного, чем в компании остроумных подвыпивших друзей ругать советскую власть.

Продолжением этого веселого времяпрепровождения и стало диссидентство. Не случайно, что одним из самых активных участников движения был Валентин Турчин — не только доктор наук и признанный ученый, но и составитель книги «Физики шутят». Как остроты Аркадия Райкина, передавались реплики с допросов в КГБ: «Откуда у вас Евангелие? — от Матфея». Правозащитная тактика своей популярностью во многом обязана соблазну игры — возможностью ловко дурачить противника: «На вашем месте я бы признал свое авторство, — говорит следовательно. — Если вы будете так говорить, то, боюсь, окажетесь на моем месте, — отвечаю я».

Дружить с остроумными, талантливыми и смелыми людьми — само по себе достижение и честь. Дома известных диссидентов показывали девушкам в качестве главного аттракциона вечерней прогулки. Вхожесть в такую квартиру ценилась выше, чем пропуск в Дом кино. А дружба обязывала держаться на уровне: «Было очень трудно

не подписать письмо: это значило признаться, что я боюсь, что молодым людям всегда неприятно, или показать, что я не так уж озабочен судьбой своих заключенных друзей». Желание быть не хуже, высокая стоимость дружеских отношений вполне обменивались на утрату комфорта и даже свободы: «Оба они (В. Делоне и Е. Кушев) пошли на демонстрацию не потому, что видели в этом личную потребность, а скорее потому, что «неудобно отказаться», «неудобно изменить данному слову». Оpozдавший на демонстрацию Евгений Кушев так объяснял на следствии свои действия: «Мне было неудобно, что я не пришел, и потому я решил крикнуть: „Долой диктатуру!“».

Психология группы «один за всех», конформизм наоборот — во всем этом безрассудном благородстве отчетливо просматриваются следы воспитания, в основу которого положен примат духовных ценностей над материальными, коллективного сознания над индивидуальным — как если бы Тимур и его команда восстали против режима.

В «Открытом письме Шолохову» Юрий Галанков писал: «Советский человек не удался в той же мере, в какой не удалась и сама советская власть». Это — софизм. В двух частях этой фразы можно, как в алгебраическом уравнении, сократить отрицание: советский человек удался в той мере, в какой удалась советская власть. Дело ведь не в качестве или степени, а в сути: есть такое явление — советский человек — или нет?

То, что официальный феномен «советский человек» безусловно существует, среди прочего, доказывает характер диссидентства. Подобно Тимур и его команде, инакомыслящие приняли явочным порядком делать то, что в теории должно было совершаться открыто, повсеместно и официально. Старушка, без толку обивавшая пороги сельсовета, обнаруживала под окном нарубленные тимуровцами дрова. А выгнанный за симпатии к Израилу лаборант неожиданно получал квалифицированную юридическую консультацию, подписной лист протеста и дружескую поддержку. Диссиденты делали то, чему их учили в советской школе: были честными, принципиальными, готовыми к взаимопомощи, презирали шкурные интересы карьеры и благополучия. Многолетняя проповедь торжества духовных идеалов над матери-

альными полнее всего реализовалась в диссидентском движении. Отсюда — и широкое сочувствие к нему со стороны интеллигенции, учившейся в тех же школах и читавшей те же книжки.

Диссиденты и были неотъемлемой частью интеллигенции — ее «передовым отрядом», еще более передовым, чем партия. Не случайно изрядную группу инакомыслящих составляли люди, исповедовавшие принципы ленинизма, для которых сомнения суммировались в вопросе: «Можно ли еще и легче ли бороться за настоящий коммунизм в партии или вне ее?» И только убедившись, что партия все-таки не та, которая в памяти и в кино, наиболее решительные выбирали собственный путь к правде. У самых разных людей способ был один. Заслуженный член партии генерал Григоренко: «Куда мы идем, что будет со страной, с делом коммунизма... Я начинаю искать ответы на эти вопросы и по старой привычке обращаюсь за ответом к Ленину». Простой рабочий Анатолий Марченко вел «раскопки в тех 55 томах, куда спрятали подлинного Ленина». И даже юный бунтарь Буковский «извлек много пользы из чтения Ленина».

Находки книжечек были различны: одни убеждали, что партия исказила ленинское учение, другие уличали самого вождя. Но неизбежность результата — протест против окружающей действительности — породила невиданный разгул ментальных извращений. По мыслящей части советского общества прошла эпидемия эдипова комплекса. Только в отличие от греческого царя, российские Эдипы действовали осознанно, с мазохистским наслаждением круша Лая-Ленина и Июкасту-партию.

На такие античные страсти способны только незаурядные натуры. По сути, каждый диссидент 60-х — отдельная драма, иногда — трагедия. Естественно, что эти люди заметно возвышались над толпой.

Шум вокруг процесса Синявского и Даниэля, возбудивший страну, чему-то научил власти: открытые судебные разбирательства были явно невыгодны. Но дело гласности не рухнуло — благодаря западным радиостанциям имена ведущих диссидентов стали популярны, как имена эстрадных артистов. Инакомыслящий стал общественной фигурой.

Характерно, что это произошло тогда, когда диссидентство еще существо-

вало как локальные акты отдельных личностей, когда самой развитой организационной формой была веселая компания с неразделенным единством пения под гитару, выпивки, чтения стихов и сочинения писем протеста.

Эти веселые компании изменили общественный климат в стране. Нарушилось главное: закон молчания. Если раньше пределом гражданской честности было неучастие, то после подписантской кампании от порядочного человека потребовалось слово.

Если раньше общественное мнение выражалось, в лучшем случае, в заговоре молчания, то теперь оно обрело язык.

Подлеца недостаточно стало не приглашать в гости: следовало, убрав руку за спину, произнести: «Подлец!» Недостаточно стало не выступать на собраниях — теперь-то как раз надо выступать. Новая стилистика сменила критерии и ориентиры, подобно тому, как пионеры звукового кино отправили на пенсию корифеев «Великого немого».

Новый принцип — слово вместо молчания — стал главной заслугой диссидентства. Общество уже не могло быть таким же, как прежде: нельзя разучиться говорить.

Научиться говорить — сложно, особенно в масштабах страны. Но это действие необратимое. Общественное мнение, основанное на произнесении слов, опиралось, естественно, на те слова, которые произносили учителя — творцы общественного мнения, лидеры инакомыслия. Это были простые и внятные речи, басенная мораль, которая сводилась к позднейшей заповеди Солженицына: «Жить не по лжи». Официальная идеология владела средстами пропаганды, но умами — общественное мнение. В такой здоровой атмосфере удивительно было, что «статья в «Известиях» изображала Синявского и Даниэля лицемерами, которые якобы в советской печати восхваляли советскую власть, а за рубежом исподтишка чернили. И непонятно было, что больше возмущает автора статьи — восхваление власти или ее очернение».

Ретроспективный взгляд всегда предполагает искажение и тенденциозность, и «сомнения нет, что много фантазии, как и всегда в этих случаях: кучка преувеличивает свой рост и значение» — но все-таки можно уверенно говорить

о мощном и широком влиянии движения протеста, порой анекдотическом — когда к видным инакомыслящим приходили с жалобами на домоуправа или пьяницу-соседа.

Такая вера в силу общественного мнения требовала опоры в конкретных образах. Туманное религиозное чувство обращает взор к реальным героям и мученикам. Несгораемые святые, непорочные матери, страстотерпцы с собственной головой в руках — все эти чудесные символы необходимы как ориентиры.

Нравственное совершенство диссидентов было очевидно и незбылемо. Это задавало недосягаемую, но желанную чистоту и высоту тона общественной жизни. Сам факт существования академика Сахарова побуждал провинциального инженера подняться на трибуну партсобрания.

С этим благоговейным отношением связана и позднейшая волна развенчания диссидентов — особенно в эмиграции, где борцы естественным образом утратили романтический ореол героев. Нет большего наслаждения, чем разнести в щепы заветный некогда кумир. Это несправедливо: священники могут быть развратны, муллы корыстолюбивы, равнины лицемерны — это имеет мало отношения к явлениям, которые они представляют. И диссиденты Красин и Якир повинны не в том, что много пили водки, и даже не в том, что пили ее на деньги, предназначенные семьям политзаключенных, а в том, что брали деньги от имени не только собственного, но и других. То есть — действовали и решали за этих других.

Отход от принципа личной ответственности стал первым симптомом слабости диссидентского движения. Пока человек решает сам и только за себя, он свободен и вполне может петь непристойные частушки под гитару. Когда же он становится частью некоего ряда, выступает от некоего обобщенного имени и мнения — тут не до частушек и, незаметным образом, — не до свободы. По Пушкину: «Зависеть от царя, зависеть от народа — не все ли мне равно...» Веселые диссиденты, осознав себя общественным явлением, стали относиться к себе серьезно. Инакомыслие превращалось в профессию. Застывание по схеме «вера — религия — церковь» институтизировало тот нравственный порыв, у которого

вначале не было ни названия, ни программы, ни цели.

Профессиональный подход неизбежно приводит к расслоению: самые способные и энергичные занимают командные посты. Вера верой, но кто-то становится иерархом, а кто-то — церковным служкой. Иерархия, в свою очередь, как любая схема, предполагает замкнутость — свои обычаи, правила, устав. Замкнутость порождает сектанство и непримиримость⁶.

Во время кампании петиций не раз раздавались предложения составлять не только списки подписей в защиту невинно осужденных, но и списки тех, кто отказался подписываться. Нравственное совершенство становилось знаком избранности, партийности. Через много лет Виктор Красин признавался: «Один из моих друзей как-то сказал мне: «Ты большевик наоборот. Чем, собственно, ты отличаешься от них?» Размежевание по принадлежности к дворянству-диссидентству происходило независимо от желания самих участников движения. Самые терпимые и скромные из них не избежали канонизации: яркий пример — Сахаров. Естественно, что в атмосфере относительной гласности (широкое хождение самиздата, западное радио) наибольший интерес вызывали «звезды» инакомыслия — даже милиционеры сбегались смотреть на Якира, Литвинова, Григоренко. Все более и более важным становилось — не что написано или сказано, а кем. «Как-то Людмила Ильинична (мать А. Гинзбург) в шутку, но с долей тщеславия сказала: «За нас подписываются профессора, а за Галанскова — дворники».

Дворники что-то и не видно было среди диссидентов, во всяком случае никто о них не знал. Да и не очень-то их принимали. Тактические соображения, как всегда, взяли верх над моральными. Инакомыслящие убедились, что и советские власти, и западные радиостанции, и рядовые граждане интересуются «профессорами» и реагируют только на них. Диссидентский генералитет сложился стихийно и в силу этой естественности был неколебим.

⁶ «Помню, как-то... сказала мужу: «Знаешь, они, конечно, очень достойные и мужественные люди, но когда я подумала, что вдруг случится так, что они окажутся у власти, — мне этого не захотелось». — Д. Каминская. Записки адвоката, с. 196.

Глядя на такую ситуацию, нетитулованные соображали, что их протестантская деятельность уязвима, пока они не добьются известности и тем обезопасят себя насколько возможно. Существовала теория о том, что необходимо «поднять шум», зафиксировать свое имя в официальном, общественном и западном мнениях. Идея нравственного противостояния встала с ног на голову: сначала следовало попасть в офицерские полки диссидентства, а потом уже нравственно совершенствоваться и способствовать совершенствованию других. Действовала парадоксальная логика Степана Трофимовича Верховенского: «Да вас-то, вас-то за что? Ведь вы ничего не сделали? — Тем хуже, увидят, что ничего не сделал, и высекут».

Логика жизни привела диссидентов к фактически организованным действиям: это дало некоторый эффект (особенно позже, когда возникли хельсинкские группы с четкой программой), но не зря инакомыслие так боялось организации.

Страх этот был двояким: разумеется, перед возможными репрессиями, но — и это важнее всего — перед уподоблением своим противникам. Молодой революционер Буковский еще мог отнестись к тайному обществу как к веселой игре⁷, чтобы потом, повзрослев, осудить такой вид деятельности и заявить: «Нашим единственным оружием была гласность... Шла не политическая борьба, а борьба живого против мертвого, естественного с искусственным». Талантливый литератор Буковский тонко называет тут не явление, а признаки. Речь и в самом деле шла о борьбе не сил, а стилей.

Отказываясь противопоставить партию партию, а идеологии идеологию, диссидентство избрало прямого, в лоб, столкновения с властью и привлекало именно своей благородной непохожестью на нее. Насмотревшись на окружающее, каждый советский человек мог бы повторить вслед за П. Григоренко: «Я сыт партией по горло. Всякая партия гроб живому делу».

⁷а... При слове «организация», да еще «тайная», в глазах у твоего собеседника загорался радостный огонек, и сразу было видно, что он, как и ты, давно ждет грузовика с автоматами». — В. Буковский. И возвращается ветер... с. 100.

Тут и подстерегало главное противоречие. Партия — конечно, гроб. Но отсутствие программы неизбежно приводит к размыванию самой идеи противостояния: во имя чего, зачем и даже — кому? Стилевое отличие предполагало и создание особой формы — а ее-то найти и не удавалось. Более того — возникла грандиозная путаница и смута. Вот генерал Григоренко выступает перед крымскими татарами в столичном ресторане «Алтай». Его слова, обращенные к лишенному родины народу, поражают смелостью и прямотой: «Перестаньте просить! Верните то, что принадлежит вам по праву!» На высокой ноте заканчивается вечер: «Зал гремел, бушевал. Но закончили «Интернационалом». И пели не только крымские татары, а все, кто был в то время в ресторане, — и посетители, и работники ресторана». Это в 1967 году! Потрясающая по амбивалентности сцена, которую и Орвеллу не выдумать.

С другой стороны, — а что надо было петь? Отсутствие лозунгов — серьезная, даже решающая проблема. Нравственная позиция сильна живым примером, но именно потому, что обращена к каждой отдельной личности, общественно неэффективна. И потом, она противоречива. Если следовать нравственному императиву буквально — неизбежно столкновение с реальной жизнью, которая требует ежедневных компромиссов. А моральная правда по необходимости абсолютна и бескомпромиссна, так что следовать ей могут лишь единицы. При этом правда абстрактна: она не учитывает конкретное общество, имея в виду универсального, обобщенного человека — то есть не дает внятного ответа: как быть, что делать, кто виноват? В результате призывы типа «жить не по лжи» порождают нескончаемые теологические споры «что есть ложь? что есть правда?» и вязнут в этих дискуссиях. Кроме того, апелляции к совести сильно страдают от повторения, человек быстро перерастает нравственные постулаты — подобно тому, как стала литературой для детей басня. Взрослый человек не может обходиться одними поговорками.

Эта слабость подспудно ощущалась диссидентством. Но в качестве общественных лозунгов оно вынужденно использовало тот же набор идей, что и любые революции — равенство,

Вадим РУДНЕВ

СТРУКТУРНАЯ ПОЭТИКА И МОТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Изучение художественного произведения как целого, вероятно, всегда было одной из наиболее привлекательных для читателя областей филологии. Структурализм, особенно в его советском ответвлении (Тартуская школа), провозгласил анализ текста одной из главных исследовательских проблем.

Именно целостность была передовым флагом литературоведческого структурализма: художественный текст — это сложно построенный смысл, все его элементы суть значимые выразители определенного содержания¹.

Вторым лозунгом классической структурной поэтики был тезис об иерархичности внутренней структуры художественного текста². Вслед за лингвистическим структурализмом структурная поэтика выделяла уровни поэтического языка от низших к высшим: фонологический, метрический (здесь, правда, сразу возникали трудности — уровни звуков и ударения не соотносятся как низший и высший — ударение надстраивается над звуковой оболочкой, т. е. параллельно ей),

сический, семантический. Сам принцип выделения уровней в естественном

языке вызывал сомнения, и уже в 50-е годы была построена теория, в соответствии с которой язык строился не от низших уровней к высшим, а наоборот — от абстрактных синтаксических структур к конкретному грамматическому заполнению (так называемая генеративная грамматика Н. Хомского³ и более поздняя генеративная семантика⁴).

Тем не менее тезис об иерархичности построения уровней художественного текста сыграл свою роль. Он создал иллюзию того, что слово «анализ» применительно к художественному произведению могло быть употреблено в строгом смысле, как оно употребляется в физике и математике. И хотя классическая структурная поэтика тартуского типа не оставила значительных образцов анализа художественных произведений (здесь всегда общие рассуждения бывали интереснее конкретных примеров), но чисто педагогически она подняла принципы разбора текста на более высокий уровень. Правда, очень скоро это привело к своеобразной инфляции. С конца 1960-х годов филологический рынок был буквально завален образцами анализов художественных текстов, и как научное направление эта область очень быстро обесценилась, став уделом студенческой филологической рефлексии.

¹ См. Ю. М. Лотман. Анализ поэтического текста: Структура стиха. — Л.: Просвещение, 1972.

² М. Ю. Лотман. Проблема уровней стихотворного текста. — В кн.: Учебный материал по анализу поэтических текстов. Таллин, 1982, с. 22—24.

³ Н. Хомский. Синтаксические структуры. — В кн.: Новое в лингвистике, вып. 2. М. Прогресс, 1962.

⁴ И. А. Мельчук. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл-текст». — М.: Наука, 1974.

Слово «анализ» применительно к филологическим штудиям не должно пониматься буквально. В филологии методика всегда неразрывно связана с личностью ученого, который эту методику разработал и применил (известно, что волшебную сказку по В. Я. Проппу мог изучать только В. Я. Пропп). Установка на «точность» плодотворна там, где это касается единиц, которые в принципе соизмеримы: таких, как слоги, ударения, грамматические формы. В применении к таким тонким вещам, как семантика, ретивое увлечение «точностью» приводило к анекдотичности, примером чего может служить выпущенное в 1979 году в г. Фрунзе методическое пособие, где за единицу художественности произведения брались один **кern** (то есть $\frac{1}{16}$ художественности стихотворения «Я помню чудное мгновенье...» (Послание к Анне Петровне Керн)).

В конце 60-х гг. (что по времени примерно совпало с переходом от структурализма к постструктурализму во французской философской поэтике) в традиционном литературоведческом структурализме намечился переход к менее жестким схемам анализа. Условным рубежом осознания этого поворота можно считать выход в 1976 году английского издания книги К. Ф. Тарановского «Essays on Mandel'shtam», когда уже в полный голос заявила о себе целая плеяда ученых молодого поколения (так называемая «школа Тарановского») — Г. А. Левинтон, Р. Д. Тименчик, Е. А. Тоддес, Ю. И. Левин, Омри Ронен.

В отличие от традиционного структурализма школа Тарановского дала блестящие образцы анализов поэтических произведений (достаточно назвать разбор мандельштамовского стихотворения «Мастерица виноватых взоров...», принадлежащий Ю. И. Левину)⁵.

Школа Тарановского, а вслед за ней и возникший так называемый «мотивный анализ» полностью разделяли первый тезис структурной поэтики (о смысловом единстве художественного произведения), но начисто отвергли второй — о строгой иерархической упорядоченности уровней его структуры. Напротив, структура художественного произведения теперь мыслилась как нечто, что насквозь прошивает традиционно выделяемые языковые уровни, и смысловое единство текста создается именно в перепутанных линиях и узлах, повторяющихся и варьирующих на разных уровнях мотивах.

Само слово «мотив» Б. М. Гаспаров определяет как любую группу элементов текста, которые повторяются, прямо и варьирующе, вступают в различные соотношения с другими такими же группами, не расчлениются без остатка на единства, которые являлись бы сами мотивами, и хотя бы раз в тексте появляются изолированно⁷.

Такое понимание мотива в науке имеет гетерогенные истоки. Мотивами называл устойчивые элементы сюжета А. Н. Веселовский в «Исторической поэтике», вслед за ним в том же значении термин «мотив» употреблен в «Поэтике» Б. В. Томашевского. С другой стороны, понятие лейтмотива как устойчивого и повторяющегося элемента музыкального языка было введено одним из основоположников искусства XX века Рихардом Вагнером. Наконец, чрезвычайно сходным гаспаровскому пониманию мотива и методу мотивного анализа является техника свободных ассоциаций, примененная З. Фрейдом в психоанализе, когда якобы случайно употребленное слово и сочетание слов по ассоциации с другими словами и их сочетаниями развертывало картину подсознательно скрываемой психологической травмы пациента⁸. Исходя из этой тесной ге-

⁵ Е. К. Озмитель, С. С. Панков. Математические методы анализа и оценки поэтических произведений (методическое пособие для студентов филологического факультета). — Фрунзе, 1979.

⁶ Ю. И. Левин. Семантический анализ стихотворения. — В кн.: Теория поэтической речи и поэтическая лексикография. — Шадринск, 1971, с. 13—23 (Перепечатано в кн.: Учебный материал по анализу поэтических текстов. Таллинн, 1982, с. 168—178).

⁷ Б. М. Гаспаров. Некоторые дескриптивные проблемы музыкальной семантики. — Учен. зап. Тартуского ун-та, вып. 411. Труды по знаковым системам, т. 8, 1977, с. 120—137.

⁸ Применение мотивного анализа в психологии см. в исследовании: И. А. Паперно. Структура устной речи и проблемы моделирования поведения. — Учен. зап. Тартуского ун-та, вып. 481. Семиотика устной речи (Лингвистическая семантика и семиотика, т. 2), 1979, 143—162.

нетической связи между психоанализом и мотивным анализом, следует сразу отвести упреки в произвольности наблюдений и выводов, которые часто бросались в адрес мотивного анализа. В классической психотерапии и в новейших ее ответвлениях, например, в системах О. Ранка и С. Грофа, считается, что, чем произвольнее на первый взгляд ассоциации, тем глубже они проникают в бессознательное и тем больший терапевтический эффект дают.

Проверить результат мотивного анализа невозможно, как невозможно провести повторный или контрольный мотивный анализ, подобно анализу крови. Если посадить рядом десять аналитиков и дать им одно произведение, то результаты десяти анализов будут в лучшем случае пересекаться и дополнять друг друга в зависимости от психологических установок, возраста, эрудиции, опыта и, наконец, таланта исследователя, ибо семантика художественного текста неисчерпаема и для него возможно столько же прочтений, сколько существует читателей. Тем более, что еще одним важным методологическим источником мотивного анализа являются популярные в XX веке исследования в области мифологии от Дж. Фрэзера и Л. Леви-Брюля до К. Леви-Строса и М. Элиаде. В отечественной науке важность мифологических штудий применительно к художественному тексту была осознана к середине 70-х годов. Рубежом опять-таки послужил 1976 год, год выхода книги Е. М. Мелетинского «Поэтика мифа», где наряду с классической мифологией анализировались неомифологические тенденции в прозе XX века — в творчестве Дж. Джойса, Ф. Кафки, Т. Манна и послевоенных писателей.

Техника бриколажа, осколочного отражения одного в другом и проведение одного через разное, примененная Леви-Стросом к анализу мифологического мышления¹⁰, весьма сильно

повлияла на технику мотивного анализа.

Конечно, у истоков мотивного анализа, равно как у истоков структурной поэтики, — стоит также русская формальная школа, ОПОЯЗ. Но использовалось это наследие обоими направлениями по-разному. Говоря условно, структурная поэтика шла за ранним В. Б. Шкловским с его технологизмом и Ю. Н. Тыняновым и Р. О. Якобсоном с их функционализмом. Мотивный анализ наследовал скорее более мягким по методике и более тонким по результатам работам Б. М. Эйхенбаума. Таким, например, как «О'Генри и теория новеллы» и «Как сделана «Шинель» Гоголя»¹¹.

Как бы ни относиться к мотивному анализу, считать ли его новым словом в филологии или легковесной забавой в духе «игры в бисер» (впрочем, Б. М. Гаспаров раз и навсегда показал, сколь плодотворные результаты дает синтез самого «сумасшедшего» мотивного анализа со скрупулезными филологическими и историко-языковыми наблюдениями — в своей книге о «Слове о полку Игореве»¹¹), его никак не упрекнешь в скучном академизме и отсутствии мыслей. Помимо всего прочего это увлекательнейшее филологическое чтение, утончающее интеллект и прививающее вкус к художественному произведению.

Если оазис в пустыне является всего лишь миражом, это не значит, что ему можно отказать в красоте и гармоничности; тем более, что в определенном смысле и вся наша жизнь представляет собой мираж.

¹⁰ К. Леви-Строс. Структурная антропология. — М.: Наука, 1985; Из книги «Мифология». 1. «Сырое и вареное» — Семiotика и искусствознание. — М.: Мир, 1972.

¹⁰ Б. М. Эйхенбаум. О'Генри и теория новеллы. — Учебный материал по анализу произведений художественной прозы. Таллин, 1979, с. 71—117; Как сделана «Шинель» Гоголя. — В кн.: Б. М. Эйхенбаум. О прозе. О поэзии. Л.: Худож. лит., 1986, с. 45—63.

¹¹ Борис Гаспаров. Поэтика «Слова о полку Игореве». — Вена, 1984.

АПОКАЛИПТИЧЕСКАЯ ТЕМА В ПУШКИНСКОМ «ГРАФЕ НУЛИНЕ»

«Граф Нулин» — одно из самых загадочных произведений Пушкина даже в контексте сложности и семантической поливалентности, характерной для его творчества в целом. На поверхности кажется, что поэма очевидно (даже слишком очевидно) отражает поворот поэта к «реалистическому» стилю. Этот аспект поэмы был подчеркнут Белинским, который высоко оценил ее как прямую предшественницу «натуральной школы» и интерпретации которого с тех пор следовали многочисленные монографии о Пушкине. Тем не менее ряд сцен во «фламандском» стиле с трудом можно было ожидать от пушкинской поэмы, написанной в том же году, что и «Борис Годунов» и четвертая и пятая главы «Евгения Онегина». Этот контраст покажется еще более разительным, если мы примем во внимание исключительные обстоятельства, при которых поэма была написана — с удивительной быстротой — в течение дня и ночи 13—14 декабря 1825 г.

В начале декабря Пушкин узнал о смерти Александра I. Письма от 4—6 декабря (П. Катенину и П. Плетневу) отражают волнение поэта и предчувствие радикальных перемен и в политической ситуации, и в собственной жизни. Возбуждение Пушкина даже усилилось после получения письма от И. Пущина, который звал его в Санкт-Петербург «для rendez vous» (такое приглашение содержало явный подтекст, поскольку Пушкину запрещено было покидать Михайловское). Получив письмо, Пушкин решил ехать в Петербург инкогнито; возможно, он рассчитывал прибыть туда ночью 13 декабря, как раз накануне восстания декабристов. Однако он столкнулся с множеством предзнаменований, кото-

рые в конечном счете заставили его переменить решение: он встретил священника, заяц перебежал ему дорогу и так далее² (запомним в особенности этого зайца для целей дальнейшего анализа).

В состоянии беспокойства, разочарования и предчувствия грядущих событий Пушкин написал именно в тот день, когда он собрался достичь Петербурга (день, число которого, возможно, было воспринято им как одно из дурных предзнаменований), свою комическую поэму, фламандский фасад которой в той же мере, что и пародийное подражание шекспировской «Лукреции», казались совершенно неподходящими к обстоятельствам. Ещё более усугубляя неразбериху, Пушкин позднее (возможно, в 1830 году) набросал комментарий к своей поэме («Заметку о «Графе Нулине»), в котором он многозначительно отметил, что связь между этой литературной шуткой и событиями, в ожидании и размышлениях над которыми она была написана, действительно существует:

«В конце 1825 года находился я в деревне. Перечитывая «Лукрецию», довольно слабую поэму Шекспира, я подумал: что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию, быть может, это охладило б его предприимчивость и он со стыдом принужден был отступить? Лукреция б не зарезалась, Публикола не взбесился, Брут не изгнал бы царей, и мир и история мира были бы не те.

Итак, республикою, консулами, диктаторами, Катонами мы обязаны соблазнительному происшествию, подобному тому, которое случилось недавно в моем соседстве, в Новоржевском уезде.

Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась. Я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть.

Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. «Граф Нулин»

Boris Gasparov. The Apocalyptic Theme in Puškin' «Count Nulin» — In: Text and Context: Essays to Honor N. A. Nilsson. Stockholm, 1987, p. 16—25.

написан 13 и 14 декабря. Бывают странные сближения» (XI, 188)³.

Заслуживает также упоминания стихотворное послание к Пушкину в Сибирь, написанное годом позже и датированное самим автором 13 декабря 1826 года⁴, которое было годовщиной, но не самого восстания, а встречи двух друзей, которая произошла бы, если бы Пушкин приехал в Петербург, а также годовщиной создания «Графа Нулина» (на рукописи действительно стоит та же самая дата: 13 декабря 1825).

М. О. Гершензон и Б. М. Эйхенбаум, первыми обратившие внимание на скрытый более глубокий смысл комической повести, намека на который содержится в авторской заметке к ней, оба пришли к заключению, что в «Графе Нулине» каким-то образом отражаются размышления Пушкина о законах и парадоксах истории⁵. Позднее Ю. М. Лотман обратил особое внимание на подтекст «Заметки», который привносится использованием в последней фразе литературного источника (письма Лоренса Стерна): «... в ночь на 14 декабря 1825 г. он размышлял об исторических закономерностях и о том, что из-за сцепления случайностей великое событие может и не произойти»⁶.

Однако упомянутые комментарии объясняют скорее смысл «Заметки», а не самой повести; все еще неясно, как же именно грубые, низкие персонажи поэмы и «фламандские» декорации отражают ожидание Пушкиным великого исторического события и его возможного и печального исхода, чем, по всей видимости, был поглощен Пушкин при написании «Графа Нулина». Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны рассмотреть более широкий контекст, в котором создавалось это стихотворное произведение.

Прежде всего, «мысль пародировать Шекспира» парадоксальным образом связывает «Графа Нулина» с «Борисом Годуновым» (который был закончен несколькими месяцами раньше), так как «шекспировский» характер этой исторической драмы неоднократно подчеркивался самим автором⁷. «Борис Годунов» посвящен событиям, отпечаток которых в культурной памяти России имеет явные апокалиптические обертоны. Кроме того, Пушкин не только всячески наводит на мысль об апокалиптической подоплеке сюжета и глав-

ных действующих лиц, но и прямо указывает на это в письме к П. Вяземскому, датированном 13 июля 1825 года (NB дату).

«Передо мной моя трагедия. Не могу вытерпеть, чтоб не выписать ее заглавия: «Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве. Писал раб Божий Александр сын Сергеев Пушкин, в лето 7333, на городище Ворониче». Каково? (XIII, 128)».

Дата 7333 (соответствующая 1825 году по древнерусскому летосчислению) полна ассоциаций с предсказаниями Апокалипсиса: прошла одна треть восьмого (предположительно последнего) тысячелетия, и она составляет ровно половину «звериного числа». (Когда-то 1492 — т. е. 7000 — был определен как дата пришествия Антихриста и конца света; после того, как эта дата миновала, в дальнейших расчетах с целью предсказания даты конца света в восьмом тысячелетии обычно использовалось число 666 и его производные. Эта подоплека пушкинской трагедии также помогает понять значение его комической поэмы.

Имя героини повести вводится намеренно небрежно, что и сосредоточивает внимание читателя на нем:

К несчастью, героиня наша
(Ах! я забыл ей имя дать!
Муж просто звал ее Наташа,
Но мы — мы будем называть
Наталья Павловна) ... (V, 4)

Это имя в творчестве Пушкина имеет двойную коннотацию. Первые десять лет его творчества оно неизменно ассоциировалось с истинно русским и народным (или простонародным) женским образом: от стихотворения «К Наталье» (1813), посвященного крепостной актрисе, к балладе «Жених» (1825), героиня которой — «Наташа, купеческая дочь»⁸. На первый взгляд, Наталья Павловна не подходит на это амплу: она была воспитана не в «отеческом законе», а в пансионе «у эмигрантки Фальбала». Имя Фальбала, к тому же, буквально означает «бахрома, отделка»; это раскрывает истинный характер европеизма героини. Даже в похвале графа, рассматривающего модный туалет хозяйки, подчеркивается именно его отделка:

Позвольте видеть ваш убор;
Так ... рюши, банты, здесь узор;
Все это к моде очень близко. —
(V, 7)

Здоровая, безыскусная натура Наташи проступает сквозь европейское обличие точно так же, как невозможно скрыть под пудрой естественный румянец лица: «Лица румянец деревенский (здоровье краше всех румян)» (V, 9).

Другое значение имени Наталья, которое ясно видно в более поздних работах Пушкина, ассоциируется с образом Мадонны; ср. сонет «Мадонна», обращенный к невесте поэта Н. Н. Гончаровой, а также тот факт, что в начале Пушкин выбрал имя «Наталья» для героини своей поэмы «Полтава» (1828), затем изменил его на «Мария». Очевидно, что «Граф Нулин» — это первое произведение Пушкина, в котором выступает новое значение этого имени (может быть, благодаря ассоциации с французским *natal*). То, что имя героини имеет двойную коннотацию, подсказывается также и тем, что фактически у нее два имени: Наташа и Наталья Павловна, которые соответствуют двум альтернативным значениям.

Таким образом, героиня повести воплощает (наиболее ироническим образом) синкретический образ «России» и «Мадонны» (Богородицы) — синтез, типичный для русской культурной традиции. Как это ни забавно, но она является олицетворением «святой Руси», которую граф Нулин хулит в своих речах («Святую Русь бранит») и та, которой он позже безуспешно пытается овладеть.

Наташин муж в повести не имеет имени. Однако его живописный портрет дан во вступительном абзаце, описывающем приготовление к охоте.

Выходит барин на крыльцо,
Все, подбочась, обозревает;
Его довольное лицо
Приятной важностью сияет...
Вот мужу подвели коня... (V, 3)

Тремя годами позже Пушкин с удивительной последовательностью (хотя путем совершенно иных коннотаций) использует те же детали при описании Петра Великого в гуще Полтавской битвы («Полтава», песнь III).

Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как Божия гроза.
Идет... Ему коня подводят. (V, 56)

Оба портрета всадников с сияющими лицами вызывают в памяти образ Всад-

ника в последней битве в Апокалипсисе:

«И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный... Очи у него, как пламень огненный, и на голове Его многа диадим; Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого» (Апокалипсис, гл. 19: 11—12).

Сходные черты образа Апокалиптического Всадника представлены в пушкинском стихотворном портрете Наполеона — «всадник бранный» и «муж судеб» — в двух стихотворениях 1824 г., написанных на эту тему, а также в черновике десятой главы «Евгения Онегина» (1830).

Эти ассоциации проливают дополнительный свет на вводную сцену «Графа Нулина». Первая фраза, по всей очевидности, говорящая о начале охоты (Пора, пора! рога трубят) содержит намек на апокалиптический конец света, приход которого возвещает труба. Вся сцена — люди и животные (лошади, собаки), собравшиеся у крыльца, на котором стоит их хозяин с «важным», «сияющим» лицом — напоминает описание трона Господня в Апокалипсисе. Сам факт безымянности мужа соответствует образу Всадника, чье имя «не знал никто, кроме Его Самого». (Наполеон также остается безымянным во всех упомянутых выше стихотворениях Пушкина, также как мужья Татьяны и Доны Анны в двух других произведениях, сюжеты которых содержат определенные параллели с треугольником, возникающим в «Графе Нулине», восьмой главе «Евгения Онегина» и «Каменном госте», также написанных в 1830 году.

Замысел композиции вводного эпизода воспроизводится в другой сцене поэмы, которую принято считать наиболее ярким примером пушкинского новаторского «реализма»: портрет Натальи Павловны, сидящей перед окном и наблюдающей сцену во дворе, в которой участвуют люди и различные животные (подробно описанные). Даже книгу, которую Наталья Павловна держит раскрытой — четвертый том «старинного» и «длинного, длинного» романа — можно истолковать как ироническую аллюзию на Книгу Судеб, которая разделена на части последовательностью семи печатей. Сцена прервана неожиданным звоном колокольчика (коррелят рогов, кото-

рые трубили в начале повести), возмущающего о появлении графа Нулина. Таковы обстоятельства, при которых на сцену выходит главный герой. Его имя, по-видимому, указывает на его совершенную незначительность; но в то же время оно связывает «нового Тарквиния» с его прототипом — Секстом Тарквинием, поскольку имена обоих произведены от латинских числительных. «Новый Тарквиний» является под нулевым именем, которое скрывает его истинное лицо.

При первом своем появлении граф хромает (из-за того, что перевернулась его карета). Далее следует длинный перечень предметов, которые он везет с собой из Парижа. Среди них — «ужасная книжка Гизота», — вероятно, трактат одного из французских историков, доказывающего, что падение монархии как формы государственного правления неизбежно; употребленный Пушкиным иронический эпитет относится не только к тому, что в контексте политической жизни России такая книжка будет пользоваться дурной славой, но и добавляет им (этим эпитетом) дьявольскую инфермальную коннотацию. Кроме того, среди вещей графа — «последняя песня Беранже-ра». Всего несколькими месяцами раньше, в июле 1825 года, в письме к П. Вяземскому Пушкин предложил тому в шутку разыграть и напугать своего дядю, используя для этого песню Беранже: «Какую песню из *Vé-ganger* перевел дядя В(асилий) Л(ьвович)? Уж не *Le Bon Dieu* ли? Объяви ему за тайну, что его в том подозревают в Петербурге и что готовят уже следственная комиссия . . .»¹².

Весьма возможно, что в повести имеется в виду именно эта песня.

В традиционном русском толковании Апокалипсиса (сложившимся не позднее XVI века), говорится, что Антихрист придет с запада. В начале Наполеоновской кампании в 1812 году в многочисленных поэтических и публицистических произведениях предполагаемый маршрут Сатаны был описан даже более конкретно: Антихрист придет (по сути дела, пришел, в образе Наполеона) из Парижа — этого «нового Вавилона». Такой мифологический вариант толкования преобладал среди русских писателей (включая молодого Пушкина) в течение первых нескольких лет после победы России. В рамках этого толкования Французская реву-

люция также включалась в апокалиптическую последовательность событий, так как именно драматическая трансформация Наполеона из символа свободы в тирана, чья злодейская порфира надела жесткое ярмо на все народы, которые уверовали в апокалиптическую суть всей эпопеи. Пушкин не отказался в своей свободолобной поэзии 1818—1824 годов от этого толкования, несмотря на то, что его симпатии переместились и были теперь обращены на личность побежденного, а не на «святые силы», которые привели его к краху. Этот фон важен для понимания символов, которые использованы при описании путешествия и приключения графа Нулина.

Так, граф Нулин прибыл из Парижа; пункт его назначения с иронией назван архаично и торжественно: «Петрополь», родную страну он надменно именуется «святой Русью», ей он адресует свою «брань». В поэме описана и очевидная цель поездки графа:

Себя казать, как чудный зверь,
В Петрополь едет он теперь . . .
(V, 6)

Лейтмотив «зверя» настойчиво, хотя и незаметно, сопровождает графа Нулина через всю поэму. Так, в конце поэмы возвращающийся с охоты муж рассказывает, что он собаками затравил зайца, позже, разгневанный, он грозит затравить псами также и графа. Параллель между двумя этими эпизодами подразумевает сравнение графа с зайцем. Таково и одно из воплощений «зверя» (вспомним, что за день до написания повести на пути поэта выскочил заяц, что служит дурным предзнаменованием). Еще более пародийная сцена «травли псами» графа происходит в спальне Натальи Павловны, когда шпиц, залавав, вынудил графа Нулина оставить свою затею. В этом столкновении с собакой он предстает в еще одном образе зверя — кота, с которым сравнивается граф, крадущийся к спальне (само по себе сравнение является пародией на сравнение Тарквиния со львом в поэме Шекспира).

Подведем итог: граф Нулин приезжает (о его приезде возмущает рожок и колокольчик) в костюме западного образца (что делает его похожим на невиданного, или «чудного», зверя), он снабжен инфермальными атрибутами, такими, как «ужасная книга» и богохульная песня, провозглаша-

ющие конец монархии и Божьего царства. Он поносит «святую Русь» и готовится появиться в ее столице, названной на старинный греческий манер. По пути он предпринимает попытку завоевать героиню, которую временно оставил ее муж (черты последнего представляют собой комическое изображение русского императора и апокалиптического «мужа судеб»). Нулин представляет собой не что иное, как новое воплощение Сэкста Тарквиния, и поэтому исход его предприятия, казалось бы, предрешен: он уже описан в книге («довольно слабая поэма Шекспира»). Но в критический момент героиня, которая, на первый взгляд, казалась вполне готовой следовать правилам «щекотливого» сюжета, вдруг совершает поступок, вполне соответствующий ее деревенской натуре, но абсолютно неожиданный, если судить по первому впечатлению от ее облика и поведения. Это кульминационное событие — пощечина графу — нарушило развитие прототипического сюжета, и после него уже ничего не произошло: «никаких республик, консулов, диктаторов, катонов и Цезаря» не возникнет. Героиня осталась собственностью своего властного и безымянного супруга. По последним строкам поэмы можно предположить, что их брак далек от идеала, и все же, по какой-то причине, он неуязвим для цепочки событий, сходных с теми, что привели к падению Римской империи.

В первый год жизни в Михайловском (осень 1824 — осень 1825) Пушкин часто называл себя «пророком», взору которого доступны скрытое значение и грядущие последствия текущих событий. Конечно, пушкинские замечания были сделаны в шуточной форме; однако иногда смысл подобных шуток корреспондирует со смыслом его наиболее серьезных и значительных произведений этого периода. Например, Пушкин с иронией сравнивал свое поспешное перемещение из Одессы в Михайловское с бегством Магомета из Мекки в Медину; соответственно, рукопись, которую он потерял во время игры в карты в

Одессе и не смог вернуть себе из-за внезапного отъезда, сравнивается с его «Кораном» (письмо Вяземскому от 29 ноября 1824). Но в это же время Пушкин пишет свое торжественное «Подражание Корану», полное явных аллюзий на его собственную судьбу и предназначение¹¹. Пушкин также лишь отчасти шутил, когда, объясняя свое нежелание подвергнуться операции, писал Жуковскому: «... я не умру — это невозможно: Бог не захочет, чтоб Годунов со мною уничтожился» (Письмо от 6 октября 1825). Это пророческое настроение еще усилилось от сообщения о смерти Александра. Во взволнованном письме Плетневу (4—6 декабря 1825 г.) Пушкин упоминает об этом событии в доказательство своего дара провидца: он имеет в виду стихотворение «Андрей Шень», написанное летом 1825 года, в котором гонимый поэт пророчески предсказывает скорую смерть «тирана», своего учителя: «... душа! Я — пророк, ей-Богу, пророк! Я «Андрея Шень» велю напечатать церковными буквами, во имя Отца и Сына etc» (XIII, 248).

«Апокалиптическое пророчество» поэмы «Граф Нулин», чрезвычайно драматически осуществившееся, могло быть высказано только в форме пародии, главные герои которой самым смехотворным образом не соответствуют своим ролям в битве между божественными и inferнальными силами. вполне типично для Пушкина высказывать наиболее значительные и сокровенные суждения в виде загадки, часто он прячет их под маской шуток, непристойности, богохульства и т. д. Тем не менее, суждение высказано, и его след заметен во многих значительных, более поздних произведениях Пушкина, таких, как «Полтава», последняя глава «Евгения Онегина», два стихотворения, написанных по поводу Польского восстания и падения Варшавы, и «Медный всадник».

Перевела с английского
Людмила БАВРИНА

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. историю этого письма в кн.: Записки декабриста И. Лорера / Под ред. М. Н. Покровского. М., 1931, с. 189; М. А. Цявловский [Летопись жизни и творчества Пушкина, т. 1. М., 1951, с. 655] предполагает возможную дату отправки Пушкиным письма: между 5 и 13 декабря.

2. Объяснение этого события было дано М. П. Погодиным (Простая речь о мудреных вещах. — 3-е изд. — М., 1875, отд. П, с. 24). Рассказ Погодина был подтвержден П. А. Вяземским в письме к Я. К. Гроту; см.: Пушкинский лицей [1811—1817]. Бумаги 1-го курса, собранные Я. К. Гротом. СПб, 1911, с. 107.

3. Номера в ссылках означают том и страницу по изд.: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. 1 — XVII, АН СССР, 1937—1959. Курсив во всех примерах мой.

4. [III, 1133] См. также: И. И. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. М., 1956, с. 85.

5. М. О. Гершензон. Статьи о Пушкине, М, 1926, с. 42—49; Б. М. Эйхенбаум. О замысле «Графа Нулина». — Временник Пушкинской комиссии, т. 3, М.—Л., 1977, с. 90.

6. Ю. М. Лотман. Три заметки к пушкинским текстам. — Временник Пушкинской комиссии т. 3. М., Л., 1937, с. 349—357.

7. М. П. Алексеев. Shakespeare und Puschkin, Shakespeare-Jahrbuch. Weimar, Bd. 104 [1968], s. 141—174; Gerhard Dudek. Die Bedeutung von Puschkins Shakespeare — Rezeption für die Entwicklung der russischen Nationalliteratur Ibid Bd. 116 [1980], pp. 26—35.

8. Ср. анализ этого значения имени Наташа в кн.: В. Ф. Ходасевич. Поэтическое хозяйство Пушкина, т. 1. Л., 1924, с. 75—76.

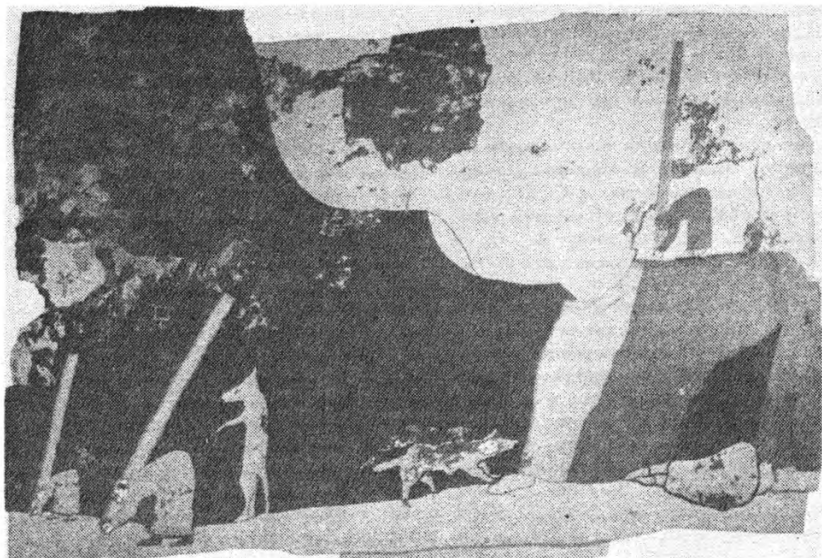
9. Параллелизм между финалом «Графа Нулина» и «Евгения Онегина» замечен Д. Д. Благим [Душа в заветной лире. Очерки жизни и творчества Пушкина. М., 1977, с. 219].

10. С подобными же дурными приметам (заяц, которого бы он хотел затравить, и священник) Пушкин еще раз столкнулся восемь лет спустя во время поездки на Урал, где он собирал материал для «Истории Пугачева». Пушкин писал об этом случае своей жене [письма от 14 сентября и 2 октября 1833 г.]:

«Опять я в Симбирске. Третьего дня, выехав ночью, отправился я к Оренбургу. Только выехал на большую дорогу, заяц перебежал мне ее [...] Дорого бы дал я, чтоб быть борзой собакой; уж этого зайца я бы отыскал» [XV, 80].

«Подъезжая к Болдину, у меня были самые мрачные предчувствия [...]. Въехав в границы Болдинские, встретил я попов и так же озлился на них, как на симбирского зайца» [XV, 83].

11. Личные аллюзии в «Подражании Корану» были изучены в следующих работах: Н. В. Фридман. Образ поэта-пророка в лирике Пушкина. Ученые записки МГУ, т. 118, т. 2, М, 1947, с. 88—98; Б. В. Томашевский. Пушкин. Материалы к монографии, кн. 2 [1825—1836] М.; Л., 1961, с. 42—45; Walter N. Vickery. Toward an Interpretation of Pushkin's «Podrazhanija Koranu». Canadian-American Slavic Studies, v XI (1977), pp. 61—74.



Илмар Блумбергс. Пути страдания. Из цикла «В никуда»

ТРЕТИЙ ТЫНЯНОВСКИЙ СБОРНИК

(ОБЗОР СТАТЕЙ)

Тыняновские сборники — это единственные в нашей стране издание, в котором история отечественного литературоведения как самостоятельная научная дисциплина получила, наконец, свое законное место. На Западе русская филология 20-х годов давно уже стала предметом серьезного изучения. В 1956 г. появилась монография Виктора Эрлиха «Russian Formalism: History — Doctrine», выдержавшая четыре издания, а в 1985 г. вышел сборник работ по истории русского формализма, посвященный самому Эрлиху («Russian Formalism: A Retrospective Glance»). В 1978 г. издана очень полная по материалу монография А. А. Ханзен-Лёве («Der russische Formalismus: Methodologische Rekonstruktion seiner Entwicklung aus dem Prinzip der Verfremdung»), опубликовано множество других книг и статей.

У нас история науки еще только зарождается. Книга В. В. Иванова «Очерки по истории семиотики в СССР» (М., 1976) и особенно подробнейший комментарий Е. А. Тоддеса, А. П. и М. О. Чудаковых к сборнику работ Тынянова «Поэтика; История литературы; Кино» (М., 1977) могли стать началом целого научного направления. Однако последние 10—12 лет оказались в этом отношении почти бесплодными. Во всяком случае, то немногое, что было сделано в этой области, не идет ни в какое сравнение — ни по полноте материала, ни по глубине толкования — с многообещающим началом. Лишь «Тыняновские сборники» (первый — тиражом 1000+350 экз. и объемом

131 с. — был опубликован в 1984 г., допечатка — в 1985 г.) в какой-то степени заполняют образовавшуюся лагуну.

Социальное объяснение столь медленного развития этого направления гуманитарной мысли почти очевидно. М. О. Чудакова ярко описала на страницах «Вопросов литературы» (1987, № 9, с. 16—17) героико-комическую эпопею с изданием упомянутой выше книги Тынянова: «... с немислимыми, совершенно непостижимыми для кого-либо, кроме соотечественников, усилиями мы, трое соавторов... волокли к печатному станку — что именно? Пучок прокламаций, подрывающих основы? Нет, всего лишь сборник историко-литературных и критических статей Ю. Тынянова». Неудивительно поэтому, что «Тыняновские сборники» начали выходить не в Москве, а в Риге, под крылом у латвийской демократии. (Уместно напомнить, что материалы биографии Ю. Г. Оксмана, включая и лагерный период, и более поздний, столь же неприемлемый для цензуры, были опубликованы уже в первом сборнике, а переписка Оксмана с женой (30—40-е годы) — в тезисах и материалах «Четвертых Тыняновских чтений».)

Однако есть и другая сторона проблемы, не связанная, по крайней мере напрямую, с давлением цензуры. Сама концепция истории науки, ее функции и место в ряду других дисциплин, наконец, жанры историко-научных исследований за прошедшие годы определились еще не вполне, и это очевидным образом отражается на составе и содержании третьего «Тыняновского сборника». В предисловии к этой книге ее цель сформулирована не только

Тыняновский сборник: Третьи Тыняновские чтения. Рига: Зинатне, 1988.

широко, но и с размахом: для людей, «причастных к науке», предоставляется возможность «сосредоточиться на решении актуальных, давно назревших проблем гуманитарного знания», таких, как «теоретические проблемы литературы и смежных искусств», «изучение общих и частных сторон отечественного литературного процесса XIX—XX вв. и разных аспектов культуры этих эпох», литературная эволюция «на материале советского времени» и др. Разработка этих проблем, естественно, сопровождается «постоянным уточнением теоретического вклада участников ОПОЯЗа». Может показаться, что при такой программе самой опоязовской филологии будет уделено не много места — лишь там, где это позволит «актуальная» проблематика. Но такое предположение было бы, однако, неверным — значительная часть статей и публикаций все-таки имеет историко-научную направленность. Таким образом, налицо явное противоречие между действительной тенденцией «Тыняновских чтений» и установками, выдвинутыми редколлегией. В этом противоречии, как кажется, хорошо проявляется нынешнее положение дел в области истории науки. С одной стороны, филологическая мысль явно испытывает настоятельную потребность в специальных историко-научных работах. С другой стороны, самостоятельная ценность исследований подобного рода все еще ставится под сомнение: они не приобрели пока самостоятельного статуса, а потому нуждаются в дополнительном обосновании или оправдании. Но мотивировка приема, как известно, имеет тенденцию становиться приемом: даже такое уникальное издание, как «Тыняновские сборники», рискует потерять индивидуальность из-за того, что изучение научного наследия Тынянова превратится из цели в средство. (Существует особый род научной литературы — юбилейные сборники. Содержание статей может быть различным, но желательное — в знак уважения — выполнить одно условие: имя юбиляра должно быть хотя бы упомянуто. Говорить о «Тыняновских сборниках» как об *oblata* несправедливо или, во всяком случае, преждевременно, но некоторые статьи — их немного — все же несколько напоминают акrostих или анаграмму: Т-ы-н-я-н-о-в.)

Статья М. Л. Гаспарова «Первочтение и перечтение: к тыняновскому поня-

тию сукцессивности стихотворной речи» — наиболее значительная из всех работ сборника, непосредственно посвященных анализу филологической концепции Тынянова. Выдвинутые им понятия «сукцессивности» (то есть последовательности) и «симультианности» (то есть одновременности) восприятия речевого материала в стихе М. Л. Гаспаров соотносит с актами «первочтения» и «перечтения», рассмотренными как культурно-типологические категории [так, ОПОЯЗ тяготел к «первочтению» и, соответственно, искал факты сукцессивности, а ГАХН (Гос. акад. худож. наук) — к «перечтению» и поэтому обращал внимание на симультианность поэтического текста]. Современная культурологическая типология, уже знакомая с противопоставлением культур «холодных» и «горячих», «риторических» и «нериторических», обогатилась новой дихотомией.

Мы остановимся только на стиховедческом содержании этой антиномии. Для того, чтобы отождествить «сукцессивность» с «первочтением», а «симультианность» с «перечтением», М. Л. Гаспарову необходимо ввести в тыняновскую концепцию временной момент, несмотря на то, что от этого неоднократно предостерегал сам Тынянов (ср.: Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка; Статьи. М., 1965. С. 181). И «сукцессивность» (т. е. «прогрессивный» момент), и симультианность (т. е. «регрессивный» момент) рассматривались Тыняновым как факторы динамизации слова в стихе (см. там же, с. 60). М. Л. Гаспаров полагает, что за представлениями Тынянова о сукцессивности стихового слова стоит опыт поэзии Маяковского и Хлебникова. Но разве не Хлебников, своей настойчивой работой над палиндромами борющийся с необратимостью времени, доказывает всю актуальность преодоления временного момента и опровергает как концепцию «первочтения/перечтения», так и временное понимание сукцессивности/симультианности? Свою мысль о важности установки на становление и процесс М. Л. Гаспаров подкрепляет ссылкой на «Смерть Вазир-Мухтара»: «Еще ничего не было решено». Это остроумное сопоставление следует уточнить: роману предпослан эпитафия, который хорошо иллюстрирует представление Тынянова о «чистом движении» и «динамике вне времени»:

Так яркий ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратив прежний грозный рев,
Храня движенья вид.

Статья С. Т. Золяна «„Я“ поэтического текста: семантика и прагматика (к проблеме лирического героя)» посвящена вопросу сложному, сильно запутанному и заболтанному, легко теряющему специфику и ускользающему от исследователя. Поэтому можно только приветствовать попытку С. Т. Золяна поставить заглавную проблему на надежную логико-лингвистическую основу. Но, к сожалению, для этого недостаточно заменить нестрогую литературоведческую терминологию столь же нестрогой лингвистической. С. Т. Золян ставит вопрос, «почему же с такой неизбежностью, подмеченной, кстати, Ю. Н. Тыняновым в заметках о Блоке и Есенине, „я“ поэтического текста стремится быть идентифицированным с „я“ биографического автора». Но ответ на этот вопрос дается скороговоркой и, как выразился однажды Тынянов, «сильно нрзб.». Впрочем, С. Т. Золян, по-видимому, и не претендует на то, чтобы дать более полное, чем прежде, толкование тыняновского понятия «лирического героя». Основная часть его статьи посвящена другому: здесь комментируется сохранившееся в записях В. А. Каверина высказывание Тынянова о том, что сама «книга в конечном счете становится „говорящим лицом“». По мнению С. Т. Золяна, происходит это потому, что к книге (тексту) «подключается реальный говорящий — автор или читатель; и автор и читатель являются значениями поэтического „я“, причем между этими значениями „я“ устанавливается отношение дейктической метафоры». Такое понимание тыняновской идеи несомненно представляет интерес для решения вопроса о поэтическом дейсисе. Однако сам Тынянов, скорее всего, имел в виду другой подход к решению этой проблемы, аналогичный гуссерлевской концепции «субъективности без субъекта» и не предполагающий различения в поэтическом акте автора и читателя.

Вяч. Вс. Иванов («Пастернак и ОПОЯЗ: к постановке вопроса») выступает в жанре *Randbemerkungen* — не случайно статья заканчивается ссылкой на «*Randbemerkungen zur Prosa des Dichters Pasternak*» Р. Якобсона. Вопрос о «поэтической филологии» Пастернака ставился и раньше, но отношения Па-

стернака и ОПОЯЗа специально и в удовлетворительном виде еще не рассматривались. Нельзя сказать, что Вяч. Вс. Иванов восполнил этот пробел: большая часть статьи посвящена выяснению отношения Пастернака к стиховедческим исследованиям и метрикоритмическим опытам А. Белого, другая часть содержит замечания о влиянии на Пастернака со стороны Гуссерля и московских гуссерлианцев (Г. Г. Шпета и др.), и лишь мимоходом, очень неполно и неточно, говорится о связях Пастернака с ОПОЯЗом, хотя сам по себе материал очень обширен и требует серьезного осмысления.

В. А. Марков в статье «Моделирование литературной эволюции в свете идей Тынянова» не столько развивает, сколько повторяет многое из того, о чем он уже писал в своей работе «Тынянов и современная системология», опубликованной во втором «Тыняновском сборнике». «Эволюционная системология» Тынянова в первой статье сопоставлялась с идеями Я. Хинтиikki, М. Фуко, Ч. Дарвина, Т. Куна и др. Вторая статья дополняет первую в основном тем, что автор «без труда» обнаруживает в текстах Тынянова «прототипы позднейших кибернетических и синэргетических идей». Сопоставления В. А. Маркова интересны и поучительны, но открытым остается вопрос о методологическом статусе и правомерности подобных аналогий. Это вызывает справедливое беспокойство и у самого автора — беспокойство, заметное уже в первой статье и специально оговоренное во второй.

Б. В. Дубин в работе «Литературный текст и социальный контекст» предпринял опыт социологического анализа науки: по его мнению, картина мира, открывшаяся ОПОЯЗу, была в существенной степени ограничена как формами его социокультурного самоопределения, так и общей его полемической позицией. Например, интерес ОПОЯЗа к изменчивости границ между литературой и смежными рядами соотносится с «маргинальностью» его собственного положения в культуре, представление об имманентной ценности литературы и требование «спецификации» связаны с кризисом традиционных форм социального бытования литературы (например, сужением или даже исчезновением круга интеллигентных читателей) и т. д. Б. В. Дубин не ограничил сферу применимости социологическо-

го метода — и вот обычный результат: социологизм, как ретивый конь, сбросил в конце концов всадника, который было решил, что «таких коней и взнуздывать напрасно».

Коньком Л. Д. Гудкова также является социология знания. Его статья называется «Понятие и метафоры истории у Тынянова и опоязовцев». Метафор было много, и в статье дана их краткая классификация, но исследуются, собственно, не они, а те «антропологические аксиомы», которые легли в основу научной деятельности ОПОЯЗа. Специфической для ОПОЯЗа автор считает «аксиому» литературы как «инновационного действия», то есть «семантического сдвига». Этот же принцип лежит в основе «личностного самоопределения» опоязовцев и «институализации» их группы. Сами по себе эти два тезиса вполне убедительны (первый, впрочем, гораздо больше, чем второй). Но поскольку автор придерживается, очевидно, «нестандартной» концепции науки и не разделяет методологического и социологического содержания научных парадигм, он приходит к такому выводу: «... опоязовцы сделали „принцип своего творчества своей темой“ и, «по существу, занимались самоописанием на содержательном историческом материале». Как видно, «антропологическая аксиома» у Б. З. Дубина и Л. Д. Гудкова одна и та же: все, что сказано ОПОЯЗом о литературе, ему следовало бы адресовать самому себе. Судя по статье Л. Д. Гудкова, гносеологическое содержание опоязовских идей равно нулю, но «эмпирическая разработка выдвинутых ранее положений» «оказалась чрезвычайно плодотворной и ценной для истории литературы». Песня старая, поскольку эмпирическое значение работы ОПОЯЗа не отрицали и «неистовые ревнители» — социологи старой школы. Л. Д. Гудков в своей критике опирается, понятно, не на них, а на В. М. Жирмунского, но к его мнению в данном случае следует относиться осторожно. Поскольку детальный социологический анализ критической позиции Жирмунского по отношению к ОПОЯЗу в статье не содержится (в этом плане могла бы быть полезна переписка Жирмунского с Эйхенбаумом, также опубликованная в сборнике и превосходно прокомментированная Н. А. Жирмунской и Е. А. Тоддесом), не следует все же отказываться от про-

стой «психологической» интерпретации его критики: Жирмунский просто не понял сущности учения Шкловского, полагая, что «чистое» искусство и «искусство как прием» одно и то же.

Г. А. Левинтон («Источники и подтексты романа „Смерть Вазир-Мухтара“») обращается к проблеме, разработавшейся ОПОЯЗом, в частности В. Шкловским в книге «Материал и стиль в романе Льва Толстого „Война и мир“». Г. А. Левинтон пытается идти дальше Шкловского, поскольку выделяет те случаи трансформации документальных источников в романе, которые должны быть осознаны читателем как искаженные и входят в этом качестве в семантическую структуру романа. Чаще всего «статус цитаты трудно установить однозначно», но эта «неопределенность представляется... неотъемлемо связанной с „концепцией“ романа, вернее с ее декларативным отсутствием». Рассуждения Г. А. Левинтона звучат достаточно убедительно, но почему бы не предположить, что Толстой, например, столь же декларативно имевший «концепцию», тоже рассчитывал на осознание читателем искажений исторического материала, извлеченного им из трудов Михайловского-Данилевского, Тьера, Богдановича и др.?

В статьях Ю. М. Лотмана «Из размышлений над творческой эволюцией Пушкина (1830 г.)», Е. В. Душечкиной («Автохарактеристика „Цыган“: святочный сюжет в полемическом контексте»), А. Л. Осповата «„Олегов щит“ у Пушкина и Тютчева (1829)» работы Тынянова используются с большим тактом: имя его нигде не упоминается всуе. Особенно «актуальны» исследования Ю. М. Лотмана и А. Л. Осповата, так как в них уточняется отношение Пушкина к колониальной политике России.

В статьях М. Б. Ямпольского «„Смысловая вещь“ в кинотеории ОПОЯЗа» и Ю. Г. Цивьяна «Движение „на“ и движение „мимо“ в раннем кино» на высоком профессиональном уровне, с привлечением обширного материала исследуются проблемы семиотики кино, поставленные ОПОЯЗом. К ним примыкают «Заметки неусердного кинозрителя на полях статьи Ю. Г. Цивьяна» (М. О. Чудакова) и «Примечания к „Заметкам“» (Ю. Г. Цивьян). Эта своего рода «переписка из двух углов», видимо, призвана «оживить» жанр на-

учного сборника и вполне соответствует духу ОПОЯЗа (ср., например, «Мой современник» Б. М. Эйхенбаума).

Н. А. Богомолов в статье «К изучению поэзии второй половины 1910-х годов» обращается к творчеству «поэтов-литературоведов, так или иначе соприкасавшихся с семинарием С. А. Венгерова»: Г. Маслова, М. Лопатто, Ю. Никольского. Автор привлекает интересный, еще не изученный материал — жаль только, что по его статье нельзя составить сколько-нибудь полно представления о хранящемся в архивах наследии поэтов-пушкинистов. Разработка темы, затронутой в статье, представляет большой интерес — хотя бы потому, что творчество этих поэтов оказалось вне поля зрения тех, кто исследовал вопрос о связях русского формализма с современной поэтической практикой. Однако Н. А. Богомолов ограничился лишь констатацией того, что творчество поэтов-литературоведов, и прежде всего Г. Маслова, подтверждает тыняновскую концепцию развития русской поэзии, изложенную в статье «Промежуток». Для сравнения Н. А. Богомолов привлекает творчество московских поэтов-филологов, объединенных вокруг журнала «Гермес» и альманаха «Чет и нечет» (Ф. Вермель и др.). «При общей ориентированности авторов „Гермеса“ на поэтику Кузмина и акмеистов (вплоть до Г. Иванова) парадоксально выглядит появление в качестве духовных ориентиров имен Пастернака и Хлебникова». Но что же удивительного в том, что Ф. Вермель (Д. Варавнин, автор первой статьи о стихе Хлебникова, друг и единомышленник Г. Винокура) избирает в качестве духовных и стилевых ориентиров Пастернака и Хлебникова? Поэтическая приязнь Кузмина к Хлебникову хорошо известна, а объединение эстетических принципов футуризма и акмеизма было, пожалуй, центральным пунктом поэтической программы этого круга московских поэтов и ученых. А. И. Ромм в рецензии на книгу стихов Б. Горнунга «Поход времени» сближал Мандельштама, Пастернака и Асеева на основании единства их поэтических принципов: аллюзивности и «примата стиля». «В этом и именно в этом современность Бориса Горнунга, его связь с непосредственной традицией, которую нетрудно охарактеризовать как футуро-акмеистическую».

Статья Р. Д. Тименчика «Тынянов и

литературная культура 1910-х годов» содержит ценную информацию о том пародийном литературном контексте (кружок «Богема»), в котором могли формироваться взгляды Тынянова-теоретика.

Исследование Е. А. Тоддеса «Статья „Пшеница человеческая“ в творчестве Мандельштама 20-х годов» (текст Мандельштама опубликован в приложении) — редчайший образец подлинной герменевтики. Е. А. Тоддес виртуозно, используя различные методы интерпретации, доступные сегодня науке, комментирует один из интереснейших и герметичнейших текстов поэта.

Необыкновенное обаяние аналитической мысли Л. Я. Гинзбург («И заодно с правопорядком . . .») и на этот раз украшает «Тыняновский сборник». В сущности, эта заметка — не мемуары, а составная часть той филологической работы, которую открыл когда-то Г. О. Винокур книгой «Биография и культура».

Апологетическое и нейтрально-аналитическое отношение к ОПОЯЗу сочетается в сборнике с критическим. Это необходимая и чрезвычайно полезная в принципе сторона историко-научной работы, но не всегда критика опоязовской методологии звучит убедительно. Так, З. Г. Минц [«„Новые романтики“ (К проблеме русского пресимволизма)»] говорит о тех механизмах литературной эволюции, которые игнорировались Тыняновым, но были хорошо известны науке XIX—начала XX в.». Речь идет о том, что указанная Тыняновым закономерность литературного развития от «дедов» к «внукам» и противопоставление тех и других «отцам» не подтверждается историей русского символизма, где наряду с «отрицанием отрицания» было представлено и «непосредственное обращение детей к опыту отцов». Литературный материал, продемонстрированный З. Г. Минц, вряд ли может свидетельствовать о неполноте концепции Тынянова (и ОПОЯЗа в целом): «генеалогическая» метафора все же не включает в себе ядра его концепции, а если уж подходить к ней серьезно, то следовало бы использовать и уточнение Шкловского — о наследовании «племянника» «дяде».

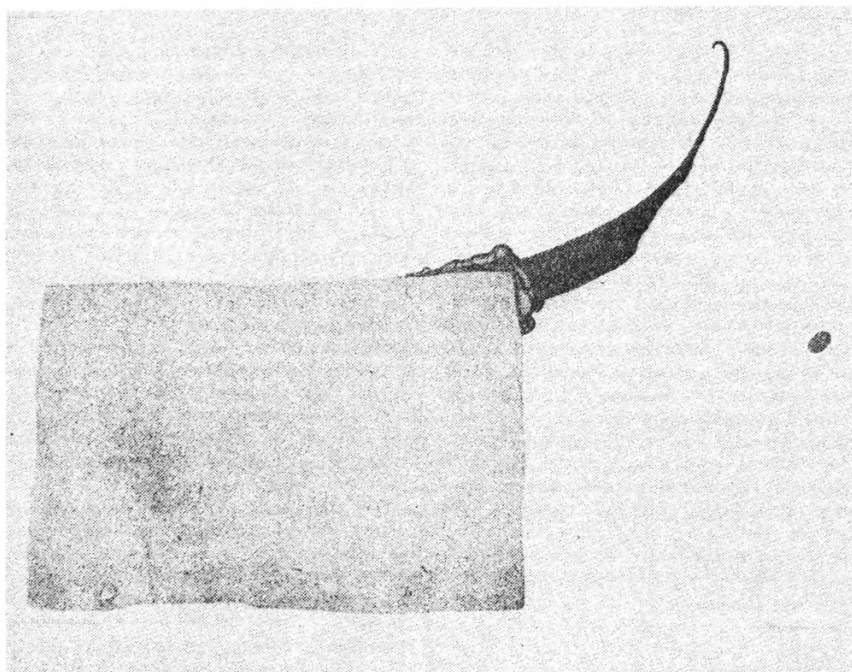
М. О. Чудакова («М. Булгаков и опоязовская критика») рассматривает проблему вполне убедительно и достаточно

нетрадиционно: чем объяснить, что «литературная работа Булгакова... была резко отвергнута Шкловским и не замечена Тыняновым и Эйхенбаумом»? По ее мнению, ОПОЯЗ, сконцентрировавшийся «на уже осознанных им схемах», не понял новаторства Булгакова, поскольку «новое литературное качество пришло совсем не с той стороны, с которой его ожидали». Установка Булгакова на «старого читателя», которую опоязовская критика считала неэффективной, привела к изменению конструкции, поскольку «преодолевался» совершенно необычный материал, предполагавший «знание читателем и зрителем старого быта, ушедшего с исторической сцены». Интересно было бы, однако, сопоставить отношение ОПОЯЗа с отношением близких к Булгакову кругов московской филологической интеллигенции: в какой мере это отношение свидетельствует о принципиальных различиях опоязовской и гахновской методологий? Работа М. О. Чудаковой, как и ряд других статей сборника, со всей очевидностью показывает актуальность разработки

истории московской филологии 20-х годов. Рамки «Тыняновского сборника» для этого, конечно, тесны — необходимо аналогичное специальное издание, посвященное Московскому лингвистическому кружку и ГАХНу.

Обзор А. В. Приедитиса «Опоязовская филология и развитие эстетической мысли в Латвии в 1920-е годы» показывает, что усвоение многих аспектов формального метода латвийской культурой было во многом созвучно ее собственным эстетическим поискам.

ОПОЯЗ понял, что сущность поэзии — в «воскрешении слова». Историко-филологическая работа преследует, пожалуй, ту же цель, но «преодолевает» при этом иной — научный — материал. Средства достижения желаемого результата еще не исчерпаны, не исчерпан и «воскрешаемый» материал. Авторы «Тыняновского сборника» в целом стоят на правильном пути, поскольку понимают, что их цель — не в ритуальном возложении венков на могилы учителей, а в постижении скрытого смысла их слова.



Илмар Блумбергс. «Abrupt turning»



Лазарь ФЛЕЙШМАН (род. в 1944 г.) — окончил ЛГУ им. П. Стучки, работал в университетской библиотеке. Активный участник Пушкинского семинара профессора Л. С. Сидякова, сотрудник рижских «Пушкинских сборников», «Трудов» Тартуского ун-та. С 1974 г. — в Иерусалимском Еврейском университете; читал курсы русской литературы и языка в университетах США (Калифорнийском, Гарвардском, Йельском, Техасском). С 1985 г. профессор славистики Станфордского университета (Калифорния). Исследователь русской литературы XIX—XX вв. Составитель, редактор и публикатор изданий по русской культуре и общественной мысли (Slavica Hierosolymitana; Русский Берлин, Stanford Slavic Studies). Организатор чтений, выставок, конференций, трудов, посвященных Б. Л. Пастернаку и его эпохе, автор статей и книг о нем, в том числе: «Статьи о Пастернаке» (1977), «Борис Пастернак в двадцатые годы» (1981), «Борис Пастернак в тридцатые годы» (1984), откуда и взята публикуемая с любезного разрешения Л. Флейшмана глава.

В ДНИ «ЕЖОВЩИНЫ»

ИЗ КНИГИ «БОРИС ПАСТЕРНАК В ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ»

О предстоящем суде над «правым центром» — подпольной организацией, существование которой выявлялось показаниями Радека и Сокольников¹, — газеты заговорили сразу за «процессом 17-ти». Тогда же — задолго до самого суда (состоявшегося в марте 1938 г.) — была начата широкая идеологическая кампания по вытравлению остатков влияния теоретических высказываний Бухарина в кругах советской интеллигенции. На общемосковском собрании писателей 30 января Безыменский значительную часть своей речи уделил докладам Радека и Бухарина на съезде писателей². 8 февраля была напечатана разгромная статья о редактировавшемся Бухариным журнале Сорена: причем в качестве одной из улик контрреволюционной ориентации этого органа фигурировал факт участия в нем «попа» П. А. Флоренского³. С этой кампанией были частично связаны и юбилейные пушкинские торжества.

22 февраля в Доме Союзов — в том же здании, где недавно прошел «процесс 17-ти», и в том же зале, где проходил съезд писателей, — открылся IV пленум правления ССП, посвященный столетию смерти Пушкина⁴. Среди зачитанных на открытии был доклад Н. С. Тихонова «Пушкин и советская поэзия»⁵. В отличие от его прежних, всегда успешных, выступлений, на сей раз Тихонов был встречен прохладно. Причину этого можно уловить по отчету Литературной Газеты:

«Чрезвычайно интересна и вполне своевременна попытка Тихонова «проверить Пушкиным» творчество ряда советских поэтов, установить степень их родства по приемам, по работе над созданием своего поэтического лексикона, по «видению мира».

Но эта часть доклада оказалась в значительной степени смятой, грешила эмпиричностью, не давая представления о многих существенных процессах в современной нашей поэзии. Ставя вопрос о возрождении пушкинских традиций в советской поэзии, т. Тихонов слишком мягко критикует Пастернака, поэта, меньше всех имеющего право претендовать на роль пушкин-

* © By the Magnes Press, The Hebrew University. Jerusalem, 1984, p. 394—429.

ских начал в поэзии. Что общего имеет душный камерный мирок пастернаковской музыки с поистине мировым размахом творчества Пушкина?»⁶.

Таким образом, одна из причин неудовлетворенности сводилась к «завышенной» оценке Пастернака: Тихонов не успел преодолеть пережитки иерархии, установленной съездом 1934 года. Эти дефекты тихоновского доклада были компенсированы выступлениями других ораторов. Алтаузен, год тому назад на Минском пленуме сосредоточившийся на апологетике Маяковского, на сей раз посвятил речь преимущественно разоблачению Пастернака. Возложив ответственность за культ его на Бухарина, Тарасенкова и Мирского, Алтаузен перешел к характеристике самого пастернаковского творчества, оцениваемого на основе критериев газетно-политической лирики. Попытка ориентировать советскую поэзию на Пастернака, заявил Алтаузен, это «дезорганизация литературного фронта». Вывод этот увязан с только что прошедшим судебным процессом:

«Сейчас, когда в смертельной схватке с врагами, с диверсантами и шпионами, агентами фашизма, советский народ строит невиданное в истории социалистическое общество, когда по далеким снегам Камчатки, по суровым полям Сахалина, по знойным полям Молдавии, по предгорьям Сванетии шагает гордой большевистской поступью новый человек, ежесекундно вступая в бой с косностью, с кровавой жадностью старого мира, ему нужно слово, вдохновляющее его на подвиг, ему нужно слово, согревающее его, ему нужно слово, подобно пуле настаивающее врага и разящее его в самое сердце. И в это время ему подсовывают Б. Пастернака, который ничего не хочет знать, ничем не хочет интересоваться, который прожил немалую жизнь, пройдя мимо величайших событий как равнодушный наблюдатель, брезгливо отряхивая их пыль со своих ног; который продолжает жить в пресловутой башне из слоновой кости, изредка высывая из форточки свое одухотворенное лицо для того, чтобы спросить нового человека, своей кровью завоевывающего для всего человечества, и в том числе для Пастернака и его детей, светлое будущее, — для того, чтобы спросить у это-

го человека: «какое, милые, у нас тысячелетие на дворе...»

По утверждению Алтаузена, корни этой поэзии — целиком в старой, до-революционной культуре и Пастернак сохранил ей «рыцарскую верность»: «И когда под нажимом советской общественности он обращается к нашей действительности, то часто лишь для того, чтобы клеветать на эту действительность». Примерами такой клеветы оратор привел становившиеся хрестоматийными строки о долоте, а также трактовку гибели Маяковского в «Смерти поэта» и «Охранной грамоте». Стихотворение «Другу» он назвал «издевательским», угрожающе присовокупив при этом:

«Не будем юродствующему⁸ поэту объяснять, что только при социализме поэзия становится подлинным достоянием миллионов масс, понятной и любимой миллионами. Пастернак говорит, что вакансия поэта при социализме становится слишком опасной.

Да, совершенно верно, его вакансия, вакансия реставратора⁹ буржуазного декаданса, в нашем советском искусстве становится опасной, потому что советский народ уже дорос до понимания — кто друг, кто враг, даже в такой тонкой¹⁰ области, как поэзия»¹¹.

Особенно сильное впечатление на присутствующих оказала совершенно неожиданная солидарность с Алтаузенном Дмитрия Петровского, старого друга и боевого литературного единомышленника Хлебникова и Пастернака в дни футуристической молодости¹². На протяжении всего 1936 года он подвергался разному за «формализм», и лишь речь его 24 февраля на Пушкинском пленуме положила конец этим нападкам. Он заявил:

«Пусть мне не говорят о сумбурности стихов Пастернака. Это — шифр, адресованный кому-то с совершенно недвусмысленной апелляцией. Это — двурушничество. Таким же двурушничеством богаты за последнее время и общественные поступки Пастернака. Никакой даровитостью не оправдать его антигражданские поступки (я еще не решаюсь сказать сильнее). Дело не в сложности форм, а в том, что Пастернак решил использовать эту сложность для чуждых и враждебных нам целей»¹³.

Так как одной из задач пленума было развенчание доклада Бухарина, критический огонь был направлен не только

против Пастернака, но и в меньшей степени против Сельвинского¹⁴, и часть речи Петровский отвел ему.

Ни Сельвинский, ни Пастернак на пленуме во время прений по тихоновскому докладу — продолжавшихся до 24 февраля — не появлялись. Это уклонение было истолковано как фронда. В заключительном слове Н. С. Тихонов упомянул об отсутствии ведущих поэтов на «дискуссии» (цитируем газетный репортаж):

«Несмотря на то, что повестка дня пленума, посвященного основоположнику русской литературы, имеет самое непосредственное отношение к вопросам современной поэзии и что вопросы эти весьма остро поставил в своем докладе т. Тихонов, ряд поэтов — Пастернак, Сельвинский, Асеев, Уткин, Кирсанов и другие не только не выступили, но и не бывают на пленуме.

— Я объясняю это отсутствием исторического понимания момента, который переживает страна, — сказал т. Тихонов под аплодисменты всего зала»¹⁵.

В тот же день Известия поместили большую критическую статью о журнале Новый Мир. Главный редактор И. М. Гронский был в ней обвинен в «гнилом либерализме» — на него переносилась та же характеристика, которая использовалась для опорочения Бухарина. Среди инкриминируемых ему акций — в частности, предоставленные страниц журнала писаниям Пильняка¹⁶, «троцкиста» Зарудина, И. Макарова, Павла Васильева¹⁷ и только что появившейся первой части «Челюскинианы» Сельвинского¹⁸ — приводились и сакраментальные фразы Пастернака о народе и долоте¹⁹. Статья отчетливо выражала ту «инквизиторскую атмосферу», которая создана была накануне выступления И. М. Гронского на пленуме. 26 февраля на трибуне появился И. Сельвинский:

«Под давлением общественного мнения выступил, наконец, вчера утром и тов. И. Сельвинский. Однако выступление его было настолько истерическим и в ряде мест глубоко ошибочным, что никак не могло удовлетворить участников пленума. Вместо того, чтобы сделать попытку понять суть своих творческих ошибок и публично признать их, тов. Сельвинский заявил: «Мне очень горько сознавать, что у меня, 37-летнего²⁰ взросло и здорового, крепкого человека, абсолютно

советского, нет никакой творческой перспективы. Я заранее знаю, что бы я ни написал, все равно найдутся люди, которые выдернут у меня 4 строчки и оплюют все, что я делаю». Усиленно акцентируя на том, что он якобы подвергается незаслуженной жестокой травле, Сельвинский расписался в полном непонимании того, что вокруг него происходит.

Естественно, что подобное поведение Сельвинского вызвало общее возмущение участников пленума. Целый ряд ораторов отмечал необоснованность, глубокую политическую ошибочность заявлений Сельвинского»²¹.

Отпор Сельвинскому дал Безыменский во втором своем выступлении на пленуме²². Он снова повторил, что «главнейшая политическая и творческая задача» сейчас — освобождение от вредных теорий Бухарина и Радека²³. При этом в его речи 26 февраля прозвучала и неожиданно примирительная нота, обозначившая собою резкий перелом в работе уже приближавшегося к завершению пленума:

«В последнее время мы жестоко критиковали некоторых писателей. Но есть ли в этой критике желание отсечь от советской поэзии таких талантливых советских поэтов, как, например, Пастернак или Сельвинский? Есть ли в этом желание сколько-нибудь ограничить их творческие поиски? Нет, и тысячу раз нет!»²⁴

То, что этот сдвиг не был случайным, подтверждала речь Фадеева на заключительном заседании вечером 26 февраля. В бюрократической структуре Союза писателей вес Фадеева практически не уступал влиянию официальной главы Союза В. П. Ставского, и поэтому его выступление приобрело значение «установочного доклада». В первом разделе, говоря о разоблачении групп «врагов народа», он упомянул контрреволюционные гнезда в Союзе писателей (примером которых он взял «салон» Сокольников и Серебряковой). Далее Фадеев перешел к двум основным персонажам пленума — Сельвинскому и Пастернаку. Хотя Сельвинского он упрекнул в «перехитках индивидуализма», в целом оценка его поразительно мягка, и для нее характерно стремление сгладить тяжелое впечатление от выступлений критики:

«Если величайшие гении дореволюционной литературы стояли в оппози-

ции к существующему, то это объяснялось тем, что они выражали подлинные чаяния народа, что они шли против тех людей, которые стояли над ними как враждебная сила. Так было с Пушкиным и со многими другими гениями прошлого.

А ведь у Сельвинского, если он является поэтом народа, нет таких причин противопоставлять себя народу или становиться над ним».

Столь же мягко-увещевающий характер носили у Фадеева упоминания о прокламированной Пастернаком независимой позиции, причем Фадеев косвенно дезавуировал враждебную кампанию против поэта в советской печати последних недель. Контраст между тоном его выступления и декабрьским докладом Ставского бросался в глаза²⁵.

«Возьмем Пастернака. Я думаю, что он просто находится в каком-то странном положении. Очевидно, он считает, что надо стоять особняком к общему движению народа вперед. Я не знаю, сам ли он до этого додумался или есть какие-то семь старых дев, которые на него дуют и раздувают это его представление. И он «играет» в какое-то свое «особое мнение», занимает какую-то, будто бы «самостоятельную» позицию, ставит себя отдельно от всех. Может быть, в этом, по его мнению, и состоит «продолжение пушкинских традиций»?

Но, несмотря на эту его «особую» позицию, сколько времени мы разговариваем о Пастернаке, и советская власть, и не только она, но и вся наша советская общественность, литературная общественность, все люди, которые так или иначе связаны с деятельностью Пастернака, бережно его убеждают, чтобы он не лез в темный угол, а развернул свой талант на пользу народу.

А если иногда в этих условиях некоторые выскажутся и слишком резко, вот тогда уж будь действительно мудр, сумей даже и тогда, когда тебя критикуют с перегибом, услышать в этом голос истинной жизни. Истину возьми, а критикующего поправь!»

Другой отличительной чертой этой речи Фадеева были необычайно ядовитые выпады против «комсомольских» поэтов — Жарова и только что выступившего на пленуме с пламенной речью против Пастернака Джека Алтаузена. Более того, Фадеев сослался при

этом на критерии «мастерства», «вкуса» и лозунг «ликвидации уравниловки», — казавшиеся на фоне тогдашней общественно-литературной ситуации полным анахронизмом²⁶.

Следует полагать, что выступление Пастернака на последнем заседании пленума стало возможным только в результате уговоров Фадеева, своей речью разрядившего атмосферу этого литературного собрания. Пастернаковская речь опубликована не была, но по отчету Известий видно, что она прямо отвечала на примирительные «жесты» Фадеева:

«Выступивший вслед за Фадеевым Б. Пастернак заявил, что, несмотря на его многочисленные ошибки, огорки, обмолвки и в поэтических его произведениях, и в устных высказываниях²⁷, он никогда не считал себя впрямую противопоставлять себя массе в том смысле, как это сформулировал тов. Фадеев. Всеми своими помыслами, заявил Пастернак, — я с вами, со страной, с партией.

Касаясь гнусного антисоветского пасквиля, с которым выступил за границей Андре Жид, тов. Пастернак с гневом и возмущением рассказал о том, с какой назойливостью Жид искал встречи с поэтом и однажды явился к нему на квартиру, сделал безуспешную попытку почерпнуть материал для своей будущей грязной клеветнической стряпни».

Здесь же газета привела выдержку из речи В. Кириона (участвовавшего в 1935 г. в Международном конгрессе в защиту культуры в Париже):

«Мы относимся к Пастернаку отнюдь не враждебно, мы верим ему, когда он говорит, что он целиком с партией и народом. Он талантливый поэт, но он живет в какой-то чрезмерно замкнутой творческой обстановке, вне обычной советской атмосферы. Необходимо, чтобы он понял это, перестал быть «особенным» в этом отношении поэтом, не теряя, конечно, своего творческого своеобразия»²⁸.

Даже те скудные сведения о Пушкинском пленуме и его закулисных обстоятельствах, которые можно извлечь из газетных материалов, позволяют противопоставить пастернаковскую линию поведения — Сельвинскому. В отличие от Сельвинского, Пастернак не изображал себя «жертвой», не выступал с жалобами на критику, а потому и не был обвинен

в «истерии». Не будь предварительных контактов с Фадеевым и «протянутой руки» администрации Союза, — Пастернак, по-видимому, упорствовал бы дальше и на плену не явился. При этом та часть его выступления, которая сочтена была заслуживающей обнаружения, сводилась к опровержению — хотя бы и «смягченным» — характеристик Фадеева. Здесь не было общего «покаяния» (как не было его и у Сельвинского) — или обещаний испряться в будущем; признание «ошибок»²⁹ было ограничено сферой проблематики фадеевского выступления, ничего общего не имевшего с тем обвинением в «двурушничестве» или «антигражданском» характере поступков Пастернака, которое 24 февраля выдвинул Дмитрий Петровский. Кажущаяся напыщенно-риторической декларация (с торжеством процитированная газетой): «я с вами, со страной, с партией» — в общем, вторит многочисленным прежним высказываниям поэта. Исключение составляет лишь третий компонент в этом ряду — с партией. Никогда до того Пастернак не прибегал к отождествлению себя с партией (и наоборот, его позиция носила всегда подчеркнуто надпартийный характер), и тем большее недоумение вызывает этот термин в данном контексте. Ключ к его объяснению лежит, по-видимому, в реальной политической ситуации: волна террора зимой 1936—37 года расценивалась тогда направленной преимущественно против партии³⁰. Заявление поэта оказывалось связанным с этими событиями.

Хотя тирада о Жиде не может рассматриваться как точная стенограмма пастернаковских слов, можно попытаться выяснить ее действительное содержание и цели. Начало «кампании» против Пастернака относилось к декабрю, к эпизоду с Возвращением из СССР, в ходе которого Пастернак повел себя «неправильно», и публикацией данной фразы можно было создать видимость, что прежняя «ошибка» исправлена и вопрос — исчерпан. Само по себе подтверждение Пастернаком факта (единичной) встречи никакого реального смысла не имело, так как все контакты А. Жиды во время его поездки по Советскому Союзу находились под неусыпным наблюдением³¹. Узнавший, по-видимому, в конце концов о содержании Возвращения из СССР и убедившийся в том, что там

нет даже косвенных упоминаний о нем, Пастернак мог теперь сослаться на это как на доказательство своей лояльности. Фраза об Андре Жиде должна была также служить адресованным к Западу призывом — не пользоваться именем поэта в политических целях³². За неделю до того С. М. Эйзенштейн опубликовал в Известиях письмо, где опровергал прошедшие по французской печати слухи о его аресте и заключении в концлагерь; источником этого «поклепа» он назвал Жиду³³.

Сравнение двух пленумов — Пушкинского и Минского — ярко демонстрирует коренное изменение положения Пастернака, произошедшее за этот год. Тогда, несмотря на оглашенный вердикт Сталина о Маяковском, даже противники Бухарина без колебаний признавали центральное место Пастернака в советской поэзии. Мине, после того как декабрьские нападки, в сущности, вывели Пастернака за ее пределы, Фадеев пытался оправдать сохранение Пастернаком «особой позиции» снисходительным изображением поэта как наивного, капризного чудачка³⁴, невзирая на заносчивые заявления и вздорные поступки не утратившего еще права на заботливое внимание и терпеливую помощь со стороны руководства и коллег. «Либеральный» полюс литературной политики оказался теперь предостережен этой, в сущности — глубоко оскорбительной для поэта, характеристикой его; ей противостояла линия Савского, утверждавшая полную идеологическую и художественную враждебность Пастернака советской поэзии. Эта «хмурая» точка зрения преломилась в освещении последнего дня пленума в прессе. Литературная Газета о нем писала в заметно ином духе, чем отчет «Известий:

«Пастернак, как об этом свидетельствовало его выступление на пленуме, все еще не в состоянии найти связь с действительностью, как мог это сделать поэт, о котором он говорит с благоговением, — Пушкин; Пастернак все еще живет в строю старых видений и ассоциаций, ставших его интимным внутренним миром, и наивно думает, что от него ждут декларации о любви к советской родине³⁵, к социалистическому строительству.

Дело не в общих декларациях! — высказывая эту мысль, В. Киришон выражал отнюдь не только свое личное мнение.

Мы за такую любовь, которая не позволяет стоять в отдалении и созерцать свой собственный пуп, за такую любовь, которая превращает поэта в активного участника нашей жизни и тем самым оплодотворяет его поэзию, сообщая ей ясность мысли, страстность и действенность.

Пастернак же предпочитает оставаться в своем замкнутом, изолированном мире и расплачивается за это мертворожденными строками непонятных и мало кому нужных стихов»³⁶.

В редакционной статье, подытоживающей работу пленума, Правда сформулировала новую официальную литературно-политическую концепцию. Она инкриминировала Бухарину попытку внедрить в советскую поэзию учение о «двойном», «тайном» смысле поэтической речи, которое истолковывалось как «замаскированная проповедь двурушничества в поэзии». Заодно статья разоблачала критиков, скомпрометировавших себя апологией ныне свергнутых кумиров — в этой связи названы Селивановский (превозносивший Сельвинского), Е. Усиевич («прославившаяся» тем, что подняла на щит «сознательного злодея» и оголтелого «врага народа» Павла Васильева), Д. Мирский и А. Тарасенков, осмелившийся поставить Пастернака рядом с Пушкиным³⁷. Характеристика (пришедшего к концу) «бухаринского» периода в истории советской поэзии опиралась на противопоставление «агитационной» и «пастернаковской» лирики:

«Стихи революционных поэтов, например Безыменского, Гусева, Суркова, М. Голодного и многих других, критики объявляли нехудожественными только потому, что они были актуальными и злободневными.

А стихи Пастернака, в которых так много «тайного смысла» и нарочитого тумана, объявлялись «истинной поэ-

зией». Впрочем, сквозь туман и юродство³⁸ в стихах Пастернака иногда проглядывают совершенно ясные политические выпады, например:

Нашу родину буря сожгла.

Узнаешь ли гнездо свое, птенчик?

Эти стихи Пастернака напечатаны без указания даты в сборнике 1936 года»³⁹.

Статья не оставляла сомнения в том, что «ниспровержение» Пастернака с Олимпа является окончательным. Тогда же распространились слухи о том, что кампания против Пастернака была инспирирована лично Сталиным⁴⁰. Решительная перемена литературного курса была с удовлетворением отмечена Николаем Заболоцким, на обсуждении доклада Н. С. Тихонова осудившим своих ленинградских коллег (и в первую очередь — самого докладчика) за отказ примкнуть к стольной кампании:

«Вопрос о Пастернаке и Сельвинском, выдвинутый на последнем пленуме правления ССП и затронутый в ряде речей на нашем собрании, отнюдь не новый вопрос. О нем не раз говорили в кулуарах, и только в поэтической секции (Ленинграда) молчали о нем. Открытая критика Пастернака считалась делом некультурным, недостойным нас, носителей советской культуры. Люди боялись, что критика Пастернака означает солидарность с Уткиным, Жаровым, Алтаузенем, которые нас мало удовлетворяли в смысле художественной ценности их произведений. И тем, что мы не выносили этих вопросов на широкое обсуждение, мы совершили грубую ошибку. Корабль советской поэзии не будет ориентироваться на поэзию Пастернака. Корабль советской поэзии взял курс на искусство народное, на высококачественное искусство, близкое и понятное массам. «Комнатное» искусство остается в стороне»⁴¹.

[Окончание следует]

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Им обоим была сохранена жизнь.

² «Дегазировать троцкистскую идеологию». — Из речи А. Безыменского». Литературная газета, 1937, № 6 (642), 1 февраля, стр. 4.

³ А. Максимова. «В плену буржуазной идеологии. Журнал Социалистическая Реконструкция и Наука. 1931—1936 гг.», Правда, 1937, № 37 (7004), 8 февраля, стр. 3. Ср.: «Сотрудники журнала Сорена»,

Последние новости, № 5803, 12 февраля 1937, стр. 2.

⁴ Осенью печатать выражала недовольство вялой подготовкой к пушкинскому юбилею. См.: «Тревожный сигнал. Журналы плохо готовятся к пушкинским дням», Литературная газета, 1936, № 64 (627): 15 ноября, стр. 2. Здесь, между прочим, сообщалась любопытная деталь: «Только Новый Мир обещает рассказы, стихи, статьи пи-

сателей о Пушкине (Ю. Олеша, Ю. Тынянов, Н. Никитин, Б. Пастернак, Н. Тихонов и др.), ни в одном другом журнале писателей высказаться на пушкинские темы, очевидно, не приглашают». В подборке «Советские поэты о Пушкине» (Новый Мир, 1937, № 1, стр. 25—33) Пастернака нет.

⁵ См.: «Пушкинский пленум правления Союза писателей», Правда, 1937, № 53 (7019), 2 февраля, стр. 6.

⁶ Я. Э. <Идельма>н. «Заметки и впечатления. На четвертом пленуме правления ССП», «Литературная Газета, 1937, № 11 (647), 26 февраля, стр. 6. (В печатную версию доклада Тихонова раздел о Пастернаке не вошел.) Ср. более позднюю запись (от 26 июня 1937 г.) в дневнике А. Афиногенова:

«Пастернак.

На Пушкинском пленуме меня все время раздражало сравнение наших поэтов с Пушкиным... Этот стоит ближе к Пушкину — этот дальше... Это как если бы мы начали сравнивать рост нормального человека с километром и говорить — в нем одна пятисотая километра... Так не делают, так не надо сравнивать нас с Пушкиным, явлением необычайным и несравнимым».

— А. Афиногенов Избранное в двух томах. Том 2. Письма и дневники. М., 1977, стр. 440—441.

⁷ Ср. о «слиянии» двух значений родины — в письме Пастернака по поводу процесса Пятакова — Радека.

⁸ До этого, в 1933—1934 гг., атрибут юродства приписывался Н. А. Заболоцкому, объявленному «кулацким» поэтом.

⁹ Здесь Алтаузен употребил уже полузабытый термин раповцев, извлеченный из анналов литературных схваток 1931—1932 гг.

¹⁰ Ироническое обыгрывание эпитета, употребленного Бухариным на съезде по отношению к Пастернаку и к Сельвинскому. Это же определение использовано в эпиграмме о Пастернаке в Литературной Газете, 1936, № 73 (636), 31 декабря, стр. 5 (Пушкинист. «Пушкин — о Пастернаке»):

Лыстецы, героя моего,
Не зная, как хвалить его,
Провозгласить решили тонким.

¹¹ «Не отставать от жизни. Речь тов. Дж. Алтаузена», Литературная Газета, 1937, № 11 (647), 26 февраля, стр. 5.

¹² Его выступление было названо «весьма симптоматичным». См.: Я. Э. <Идельма>н. «Заметки и впечатления. На четвертом пленуме правления ССП», Литературная Газета, 1937, № 11 (647), 26 февраля, стр. 6. Ср. характеристику Дм. Петровского в материалах к XIII главе («Осиное гнездо») поэмы Асеева «Маяковский начинается»:

Но что друзья кружок нехитрый,
Сникающий
При первой же грозе?

Какой, к примеру, друг
Хитровский Дмитрий? —
Изавай бог

От эдаких друзей!

— См.: Николай Асеев. К творческой истории поэмы «Маяковский начинается», Литературное Наследство, Том 93. Из истории советской литературы 1920—1930-х годов. Новые материалы и исследования. М., 1983, стр. 471.

¹³ Чит. по отчету: «Пушкинский пленум правления Союза писателей», Правда, 1937, № 55 (7021), 25 февраля, стр. 6. Текст речи в газетах напечатан не был, но по приведенному куску можно получить представление не только о резкости, но и тактике, к которой прибег оратор: самозащита от обвинений в «формализме» ценой политического опорочения своего старого кумира (ср. речь Петровского 29 августа 1934 г. — Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет. М., 1934, стр. 534—537). Толчком для этого, по-видимому, послужила история с А. Жидом.

Петровский подразумевает А. К. Гладкова, вспоминая о Пушкинском пленуме. «Особенно злыми были выступления А. <лтаузена> и Х. Речь Х. на первый взгляд может показаться странной. Почему он, сам подлинный, тонкий поэт, присоединился к грубым, демагогическим нападкам на Пастернака? Понять это можно, только если представить психологию времени, насыщенного страхом и вошедшей в норму человеческого обихода подлостью. Откройте любой лист газеты того времени, и вы увидите, как часто завтрашние жертвы, чтобы спастись, обливали грязью жертвы сегодняшнего дня».

— А. Гладков. Встречи с Пастернаком. Париж, 1973, стр. 10—11.

¹⁴ Ср. запись в дневнике В. Инбер от 19 февраля 1937 г.:

«Вчера была в Переделкине. Илью нашел в постели...

Бедный Сельвинский! Бедный «тигр!» — Вера Инбер. Страницы дней перебирая... Из дневников и записных книжек. Изд. 2, доп. М., 1977, стр. 45. (Последняя ремарка отсылает к известной автохарактеристике Сельвинского «тигр среди собак».)

¹⁵ Д. Кальм. «На Пушкинском пленуме Правления Союза советских писателей», Известия, 1937, № 50 (6212), 26 февраля, стр. 4.

¹⁶ В этой связи снова упоминалась помощь Радеку, оказанная Пильняком в 20-е годы.

¹⁷ Последним появлением поэта в печати были три «гражданских» стихотворения в октябрьском номере Нового Мира. В числе их — стихотворение «Убийцы», посвященное только что прошедшему процессу над Каменевым и Зиновьевым, где говорилось:

Они хотели
Вызвать распри,
Тревогу поселить в стране.

Вот почему,
Сорвав с них маски,
Мы ненавидим их втройне.
Чтоб

По-весеннему шумела
Жизнь
В молодом моем краю —
Конец убийц осатанелых,
Как некий праздник, воспою!

Когда появилась данная статья в Известиях, Павел Васильев уже находился в тюрьме: он был арестован 7 февраля (см.: Л. Бондина. «Неумною песней звенеть», Литературная Россия, 1964, № 50 (102), 11 декабря, стр. 10; П. Косенко. «Повесть о Павле Васильеве», Простор, 1967, № 1, стр. 56—57). Согласно одной версии, арест его был связан с протестом против нападок писателя на Бухарина во время процесса над Пятаковым и Радеком. См.: Роберт Конквест. Большой Террор, Firenze, 1974, стр. 598; ср: Stephen F. Cohen. Bukharin and the Bolshevik Revolution. A Political Biography, 1888—1938. New York, 1973, p. 475 (note 3).

¹⁸ Статья цитировала те же порочные места из поэмы, которые были приведены и в речи Д. В. Петровского.

¹⁹ Не-Литератор. «Ю Новом Мире», Известия, 1937, № 50 (6212), 12 февраля, стр. 4. Ср. также другую статью о И. М. Гронском: А. Кретов. «Политическая слепота», Литературная Газета, 1937, № 12 (648), 5 марта, стр. 5.

²⁰ Намек на «возраст» Пушкина и Маяковского.

²¹ «На Пушкинском пленуме правления Союза советских писателей», Известия, 1937, № 51 (6213), 27 февраля, стр. 4. Ср.: «Выступлением, и по существу, и по форме недостойным советского поэта, была речь Сельвинского, который изображал себя невинной жертвой советской критики». — «Пленум правления Союза писателей», Правда, 1937, № 57 (7023), 27 февраля, стр. 6. Травлю Сельвинского биограф О. С. Резник сводит к нападкам на эпопею «Челюскинана», а причины их усматривает в опале центрального героя произведения, акад. О. Ю. Шмидта (см.: О. С. Резник. Жизнь в поэзии. Творчество И. Сельвинского. Изд. 3. М., 1981, стр. 168—170). Между тем кампания против Сельвинского предшествовала опале Шмидта, и действительной ее целью была борьба с «бухаринским» флангом в Союзе писателей.

²² Первое состоялось 22 февраля и напечатано в Литературной Газете, 1937, № 12 (648), 5 марта, стр. 3.

²³ «Пленум правления Союза писателей», Правда, 1937, № 57 (7023), 27 февраля, стр. 6.

²⁴ «На Пушкинском пленуме правления Союза советских писателей», Известия, 1937, № 51 (6213), 27 февраля, стр. 4.

²⁵ Можно предположить, что именно этому эпизоду обязана своим происхождением наивная версия о Фадееве как ангеле-хранителе Пастернака, спасителе его от

террора. См. Юрий Кретов. «Пастернаки», Грани, 63 (1967), стр. 65: «По поводу того, почему Пастернак уцелел в период ежовщины, есть много различных мнений в России и на Западе. Но существует одно обстоятельство, о котором, пожалуй, не упоминалось. Дело в том, что Сталин любил Фадеева и доверял ему, а Фадеев очень любил Пастернака, что, разумеется, не мешало ему публично выступать против Пастернака. Он лишено вероятности предположение, что Фадеев, когда возникали опасные для Пастернака ситуации, защищал его перед Сталиным». Ср.: Ю. Кретов. «Самоубийства советских писателей», Новый Журнал, 91 (1968), стр. 134.

²⁶ «За подлинную демократию. Речь тов. А. Фадеева», Литературная Газета, 1937, № 13 (649), 10 марта, стр. 4.

²⁷ Ср. о «кулуарных» разговорах Пастернака — в декабрьском докладе В. П. Ставского о VIII съезде Советов.

²⁸ «На Пушкинском пленуме правления Союза советских писателей», Известия, 1937, № 52 (6214), 28 февраля, стр. 4; ср.: «Пастернак и Сельвинский каются», Последние Новости, № 5823, 4 марта 1937, стр. 2.

²⁹ Пойти на такое признание поэту не было трудно в силу его исконного убеждения в оправданности и законности ошибок.

³⁰ «Репрессии в своей основе теперь направлены против партийного аппарата. Беспартийная интеллигенция прямым объектом их не является и нередко даже попытки весьма ответственных носителей власти в личных разговорах с представителями такой интеллигенции уверить их, что им опасаться теперь нечего, что им никакой опасности не грозит». — Х. «По России. Москва», Социалистический Вестник, 1937, № 6 (386), 25 марта, стр. 16.

³¹ Ср., в частности, описание встречи с Н. И. Бухариным — в книжке А. Жиде, дополняющей Возвращение из СССР и вышедшей в 1937 году.

³² А. Жид и не упомянул Пастернака в последовавших печатных выступлениях.

³³ С. М. Эйзенштейн. «Письмо в редакцию», Известия, 1937, № 43 (6205), 18 февраля, стр. 2. Ср. об Эйзенштейне в кн.: Andre Gide. Afterthoughts. A Saguel to «Back from the U.S.S.R.». Лондон, 1937, p. 21.

³⁴ Эта оценка укоренилась с тех пор относительно «доброжелательном» освещении поэта в советской литературной критике и наложила печать даже на мемуары Ивинской о нем.

³⁵ Ср. письмо Пастернака по поводу «процесса 17-ти».

³⁶ Я. Э (Йидельман). «Прения по докладу тов. В. Ставского», Литературная Газета, 1937, № 12 (648), 5 марта, стр. 1. Вот что о Пастернаке говорил в своем докладе Ставский 25 февраля, еще до «перелома» в атмосфере пленума:

«В свое время я уже критиковал стихи Пастернака, опубликованные в десятой книжке Нового Мира за прошлый год. В

этих стихах есть политически ошибочные утверждения, вроде того, что наш народ ... как свое изделье

Кладет под долото
Твои мечты и цели!

В этих стихах Пастернака мы находим там же «перлы»:

Откос пути размяк
И вспухшая Арава
Неслась, сорвав башмак
С болтающейся дратвой!

Пойди и догадайся, что поэт в этих строках говорит о размытой плотине, как это выяснилось с ним в беседе!

С огорчением приходится признать, что поэту не пошли впрок ни Минский поэтический пленум, ни жаркая дискуссия о формализме, ни пушкинские дни!

— «Решительно улучшить работу Союза писателей. Из сообщения тов. Ставского на 14-м пленуме Правления Союза писателей СССР», *Литературная Газета*, 1937, № 15 (651), 20 марта, стр. 2. (Ср.: В. Ставский. «После пленума ССП», *Знамя*, 1937, № 4, стр. 270—280). Те же строки о долоте взяты эпиграфом к стихотворному фельетону о Пастернаке А. Г. Архангельского, опубликованному в *Литературной Газете* 20 марта (стр. 6) под названием «Сроки» (обыгрывающем «правду сроков без отсрочки» в «Спекторском»).

³⁷ «О политической поэзии», *Правда*, 1937, № 58 (7024), 28 февраля, стр. 4 (ср.: Н. Плиско. «О политической поэзии». *Литературная Газета*, 1937, № 12 (648), 5 марта, стр. 4; Ф. Левин. «Выжечь до конца», там же, стр. 2). В письме «В редакцию журнала «Знамя» А. Тарасенков признал глубокую ошибочность всех своих высказываний середины 30-х годов о Пастернаке — см.: *Знамя*, 1937, № 6 (июнь), стр.

284—285. эту резкую метаморфозу высмеяла *Литературная Газета* (1937 № 7; (707), 31 декабря, стр. 6) в эпиграмме С. Швецова «Тарасенков перестроился».

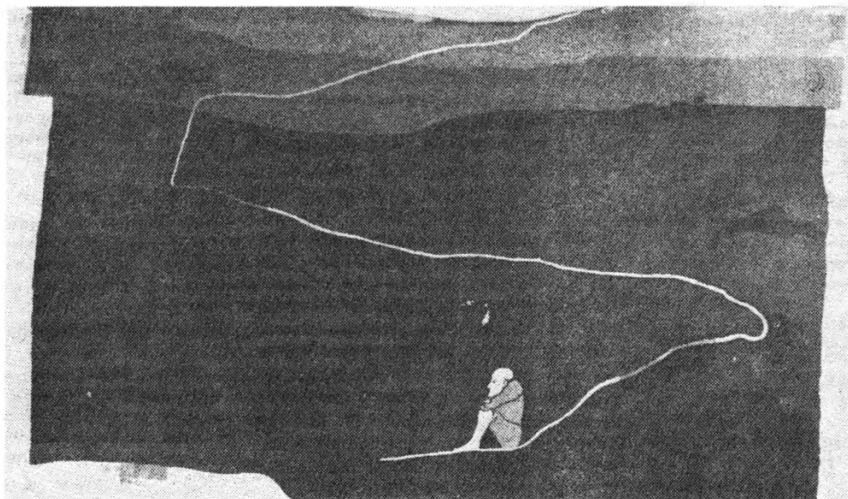
О Тарасенкове и Пастернаке см. в воспоминаниях А. К. Гладкова: «Как это ни странно, Б. Л. относился нему снисходительно. Он приписывал Т. какую-то непонятную ему сложность и особого рода тонкость, чего не было и в помине». — А. Гладков, *цит. соч.*, Париж, 1973, стр. 107—108. О знаменитой коллекции поэтических сборников Тарасенкова см.: М. Белкина. «Главная книга. История одной библиотеки», *Новый Мир*, 1966, № 11, стр. 194—224; об инокрипах Пастернака в ней см.: Б. Шиперович. «О чем говорят автографы...», *Альманах библиофила*. Вып. 3. М., 1976, стр. 121—131.

³⁸ Термин, примененный только что на пленуме Алтаузенем и смягченный Фадеевым.

³⁹ «О политической поэзии», *Правда*, 1937, № 58 (7024), 28 февраля, стр. 4.

⁴⁰ См.: Г. А (дамович). «Литература СССР», *Последние Новости*, № 5851, 1 апреля 1937, стр. 3. Как рассказывает заметка, взяв книгу Пастернака (издание 1936 г.?), «Сталин будто бы вернул ее Бубнову, заметив с раздражением, что «на такую чепуху ему жаль времени!».

⁴¹ «Общее собрание ленинградских писателей», *Литературная Газета*, 1937, № 16 (625), 26 марта, стр. 2. Ср. полемику Г. Гиффорда и Р. Р. Миллер-Галланда о Заболоцком (*Times Literary Supplement*, No 1160 and 1164, Sept. 11 and Oct. 9, 1981).



Илмар Блумбергс. «Кто ты!» Из цикла «В никуда»

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» А. С. ИВАНОВУ

Уважаемый Анатолий Степанович!

Ваше интервью газете «Правда», опубликованное 3 сентября, в котором многие места удивляют своей предвзятостью и необъективностью, является убедительным примером того, как тенденциозность в освещении событий обращается в неправду.

Судя по интервью, Вы, Анатолий Степанович, крайне озабочены формированием правдивого мышления у молодежи и поэтому решительно выступаете против всяких искажений отечественной истории. Но предвзятость в подборе фактов, сведений, имен является одной из самых изощренных форм искажения истории, как, впрочем, и любой науки.

Напомнив читателям слова М. С. Горбачева, что вина Сталина и его ближайшего окружения за допущенные массовые репрессии и беззакония огромна и непростительна, Вы далее говорите: «Да наравне со Сталиным ответственны за репрессии и другие, в том числе и его ближайшее окружение и оппоненты — Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин, Каганович, Мехлис, Ягода, Берия, Ежов, Яковлев и многие, многие другие. Именно они являлись теоретиками массовых репрессий и практиками их осуществления».

Но разве Молотов и Ворошилов, а затем Жданов и Маленков не входили в ближайшее окружение Сталина? И разве их «вклад» в организации массового террора и истребления руководящих кадров партии, государства, армии, интеллигенции менее значителен?

Молотов, вслед за Сталиным, угодливо подписывал представляемые Ежовым проскрипционные списки, в каждом из которых содержались сотни имен ни в чем не повинных людей, обреченных на смерть. Он вместе с Кагановичем был организатором разгрома руководящих кадров на Украине, лично повинен в гибели государственных и партийных деятелей — Уханова, Ломова, Кабакова.

Ворошилов сыграл главную (после Сталина) роль в истреблении накануне войны руководящих кадров Красной Армии, что, по общепризнанному сейчас мнению, явилось одной из причин тяжких неудач в начальном периоде войны.

Жданов известен как организатор массовых репрессий против интеллигенции. На его совести унижительная дискриминация Ахматовой, Зощенко, Шостаковича и многих других деятелей литературы и искусства. Он лично повинен в гибели многих руководящих деятелей Ленинградской партийной организации, в том числе — Кодацкого, Судова, Струнне, Позерна.

Маленков — главный организатор и вдохновитель провокационного «Ленинградского дела», повлекшего за собой гибель не одного десятка ни в чем не

повинных людей (в том числе таких выдающихся деятелей партии и государства, как Кузнецов, Вознесенский, Родионов) и репрессирование многих сотен других.

Провокационные и доносные деяния Мехлиса хорошо известны и заслуживают самого сурового осуждения; включение его в число активных участников сталинских репрессий вполне закономерно. Но почему-то Шкирятову, деятелю такого же политического уровня, что и Мехлис, сыгравшему не менее гнусную роль в беззакониях того времени, не нашлось места в вашем интервью. (Не звучит фамилия, что ли?)

Конечно, газетное интервью не историческое исследование, обо всем не скажешь, всех не упомянешь, кое-кого можно упрятать в слова «... и многие другие». И все же... говоря о репрессиях 30—40-х и начала 50-х годов «забыть» таких деятелей сталинской креатуры, как Молотов, Ворошилов, Жданов, Маленков, — это уже явная тенденциозность, преследующая цели, видимо, генетически запрограммированные в литературно-политическом кредо руководимого Вами журнала: в любых негативных явлениях прошлого и настоящего отыскивать след лиц определенной национальности как виновников этих явлений.

Массовые репрессии всегда противоправны и не могут не вызывать протеста. Но уместно ли сопоставлять репрессии, имевшие место в экстремальных условиях первых лет революции и гражданской войны, с репрессиями сталинского периода, которые проводились в мирное время (когда уже было провозглашено вступление страны в стадию социализма) против выдающихся деятелей партии и государства, командного состава Красной Армии, цвета советской интеллигенции, против ни в чем не повинных миллионов рядовых советских граждан, во имя укрепления личной власти Сталина и возвеличивания культа его личности. К тому же масштабы репрессий совершенно несопоставимы: тысячи против миллионов.

Из десяти лиц, названных в интервью в качестве главных идеологов и исполнителей массовых репрессий, семь — еврейского происхождения: Троцкий, Каменев, Зиновьев, Казанович, Мехлис, Ягода, Яковлев. Не слишком ли это предвзято, не слишком ли Вы утрируете факты, Анатолий Степанович?

Свое интервью Вы обозначили девизом: «Следовать правде». Однако, выпячивая одни имена и замалчивая другие, Вы искажаете правду, инспирируете недоверие и вражду к людям еврейской национальности, способствуете формированию у молодежи шовинистического мышления. Но, может быть, это и есть то правдивое мышление, формированием которого у молодежи так озабочен Ваш журнал?

Заканчивая интервью, Вы сказали: «Я верю в благополучное будущее Советского Союза...» В многонациональном государстве, каким является Советский Союз, не будет благополучия, если сеять вражду и культивировать недоверие между людьми различных национальностей.

Д. Я. Шифрин,
участник Великой Отечественной войны,
Ленинград

ИЗ ПИСЬМА

Пишет вам рабочий из Дзержинска. Прочитал в седьмом номере открытое письмо Е. Бича Б. Васильеву «Так что такое «непогода»?». Огромное спасибо! Вы, наверное, представляете себе, как нам не хватает настоящей правды. Ведь все, что печатается, что говорится по радио, направлено на то, чтобы поднять пошатнувшийся авторитет партийного аппарата. Сейчас, когда, считай, все лидеры прошлых лет оказались не теми, за кого нам их выдавали, мы знаем правду про Сталина, Брежнева и других. Нам стараются внушить: в том, что мы плохо живем, вина не партии, не Ленина, а тех лидеров партии, которые исказили учение Ленина. Я, конечно, парень не сильно грамотный, но не могу с этим согласиться. Я имею в виду то, что многопартийная система была разрушена еще при Ленине после разгрома Учредительного собрания. Сваливать всю ответственность на одних лишь бывших

лидеров партии, а с самой партии всякую ответственность снимать, это неправильно. И стоит ли это делать теперь, когда народы Польши и Венгрии, многие коммунисты этих стран дали объективную оценку деятельности своих руководящих партий. Там созданы новые партии, введена многопартийная система. . . Сейчас многие издания печати сняли лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». И, я считаю, поступили верно. Ведь зачем американскому или канадскому трудящемуся объединяться с нашим? Пролетарии должны объединяться для совместной борьбы против поработителей или эксплуататоров (а может, для совместных праздников). Уж если кому и надо объединяться, то это российскому пролетариату для борьбы с министерствами, ведомствами, всякими управленцами.

Еще раз спасибо за публикацию открытого письма!

С уважением Леонид Жердев,
Дзержинск.

БУДЕТ ЛИ ТЕАТР В ДАУГАВПИЛСЕ?

Уважаемая редакция!

Хочу попросить вас помочь организовать в Даугавпилсе слет всех учеников 1-й, 2-й и 3-й русских гимназий, начиная с основания этих учебных заведений после гражданской войны и до 1940 года, то есть за время существования независимой Латвии. Я пошла в русскую 2-ю школу девяти лет, окончила ее в 1927 году. Теперь мне 79 лет. Знаю, что многие из тех, кто учился в русских школах Даугавпилса, проживают и поныне в этом городе, другие за время войны рассеялись по всей Латвии и даже за ее пределами. Я слышала, что в Огре был слет окончивших русскую гимназию в Даугавпилсе. Видела фотокарточки и на них многих знакомых.

Думаю, что в Балто-славянском обществе есть люди, живущие в Риге, но прежде жившие в Даугавпилсе и там учившиеся. Знаю, что в Даугавпилсе много таких людей.

Поэтому обращаюсь к вам и надеюсь, что вы поможете.

О своей школе, о наших прекрасных педагогах и соучениках я никогда не забуду. Есть у меня фотокарточки тех дней, я часто их просматриваю.

А теперь о другом. В газете «Советская молодежь» от 20 октября прошлого года была статья «Перед третьим звонком». В ней говорится о театре. Так вот, я хочу сказать, что в Даугавпилсе раньше не было русского театра, но интерес тогдашних жителей к театру был огромен. И когда из Риги приезжала Русская драма, билеты в театр невозможно было достать. Интерес к театру прививался с дошкольного возраста. В театр ходили с педагогом, организованно и только на те спектакли, которые полагалось смотреть ученикам. Это были тяжелые годы после гражданской войны, но, несмотря на все трудности, наши педагоги сумели привить нам интерес к знанию, красоте и добру.

А если говорить о Даугавпилсе, то там о театре вообще никто и думать не хочет. Даже те, кто его всегда посещал, сегодня не посещают. Часто бываю в Даугавпилсе, и когда заходит разговор о театре, то чувствую, что эта тема мало кого интересует. У меня создалось впечатление, что культурная жизнь в городе не очень-то интересная.

Прошу извинить меня за мое нескладное письмо, сделайте скидку на мой возраст. Но мне кажется, что слет бывших гимназистов встряхнул бы город, стал интересным событием его культурной жизни. Если, конечно, хорошо его провести. Вот почему я обращаюсь за помощью в журнал и к Балто-славянскому обществу.

Е. Герасимова,
член клуба репрессированных, член НФЛ
г. Тукуж

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТАВКУ?

Наш начальник почтамта В. П. Нисковский в письме № 326 от 10.10.89 г. в ответ на мою жалобу сообщил: «... действительно существующий порядок доставки газет и журналов не обеспечен возможностью установления, на каком этапе прохождения или обработки пропала газета или журнал... Такой порядок действует по всему Советскому Союзу».

Оказывается, подписчик совершенно не защищен и жаловаться бесполезно! Выходит, Министерство связи СССР неправильно делает, что своевременно не предупреждает граждан: «За доставку корреспонденции почта ответственности не несет».

*Р. А. Кунарадзе,
пенсионерка, г. Нальчик*

ВОСЬМОЙ НОМЕР: PRO ET CONTRA

Ниже мы публикуем отзывы на восьмой номер в том порядке, как они поступали в редакцию. Мы надеемся, что здесь представлен весь спектр читательских мнений: наряду с отзывами однозначно полярными здесь встретится положительный отзыв от читателя, которому номер не понравился, и отрицательный отзыв от читателя, которому номер явно пришелся по душе

Уважаемый редактор!

Получил № 8 журнала «Даугава».

Больше подписываться не буду: белиберда, словесные отправления околотуратурных извращенцев. Ни уму, ни сердцу.

Нет, видимо, у вас ни стыда, ни совести. Пропадают труд, бумага, время и деньги.

Подписываюсь на «Кодры», «Волгу», «Подъем» и др. журналы.

Честь имею

18.08.89.

Рязанцев А. К.

Современный перелом в литературной жизни дважды значителен. Из-под почвы, утопанной застоєм, стало вырываться сквозь трещины одновременно и старое и новое — поэты начала века, возгнанные в забвение, поэты эмиграции, считавшиеся несуществующими, и молодые (для 1960-х гг.) неконформные поэты, не имевшие возможности печататься и размножавшиеся самиздатом в достаточно нешироких и не всегда даже смыкающихся кругах. Когда я занимался стиховедческой статистикой по материалу 1970-х гг., мне сказали, что материал печатающейся поэзии непоказателен — добавление материала «андерграунда» сильно сдвинет все показатели. Я мог только ответить: «а где мне взять выборку этого материала с ручательством за ее представительность?» Чем скорее весь мощный пласт этой поэзии (со всеми ее достоинствами и недостатками на разные вкусы) ляжет перед читателем открыто, тем скорее и литературоведы и критики смогут говорить о современной русской и не только русской поэзии такой, какова она есть. Достижимо это, вероятно, лишь при помощи кооперативных издательств, изданий за счет авторов и прочих еще не устоявшихся средств публикации; но чем чаще журналы будут напоминать об этом подборками, подобными представленной в «Даугаве», тем больше у любителей словесности будет надежды на скорейшее достижение общей цели.

М. Гаспаров

Раньше все было просто. Были «мы» и были «они», массы. «Они» не слышали имен Бродского и Гумилева, не знали Набокова и Ходасевича, знали, но никогда не читали Солженицына, без замирания сердца ехали с Курского вокзала в сторону

Петушков и даже помыслить не могли о поэзии Пригова... И вот — мы лишены наших ценностей. Все — на продажу, и восьмой номер журнала «Даугава» за этот год — лишнее тому доказательство. Даже такие филологические деликатесы, как перевод Маяковского на старославянский язык или тайнопись Хармса, брошены в котел нынешнего интеллектуального общепита. Не хватит ли? Оставьте нам хоть что-нибудь!

Т А Михайлова

(..) про № 8 — Вас можно поздравлять без страха преувеличений. По-моему, удача во всех отношениях: подборка, монтаж, уровень. Трудно Вам, наверное, представить, как может радоваться сердце кустаря-одиночки при виде такой мощной ватаги (талант + профессионализм). Вероятно, в центр. прессе следует ожидать никакой реакции. Думаю, они просто не знают, как все это понимать.

25 сент 89

Е. М. Майбурд

Здравствуйте, уважаемая редакция «Даугавы»!

Уже год читаю ваш журнал, но написать решил впервые.

Мне очень импонирует ваш журнал — своим неординарным подходом к поднимаемым проблемам, своей компетентностью. Но то, что вы сделали в № 8 за этот год — это непостижимо! Молодцы! Спасибо огромное за этот номер! Спасибо всем тем, кто сделал это. Осмелюсь утверждать, что этого или такого номера многие люди ждали давно. Ведь где у нас прочтешь серьезные произведения концептуалистов? Нигде практически, поэтому то, что сделали вы, — замечательно!

Моздыган К. Е., Калининград

Глубокоуважаемый редактор!

Пишу Вам по поводу восьмого номера «Даугавы». Работники журнала сильно заблуждаются, считая свои поиски «нового слова и нового стиля» подлинным движением культуры. Если «младшее поколение», которому «старшее поколение не вправе диктовать: как писать и что печатать», не перестанет публиковать свой бред, то журнал рискует потерять многих читателей.

Все мои знакомые, подписчики «Даугавы», разделяют мою точку зрения.

С уважением Н. Н. Баутин, Горький

Р. С. Если уж так необходимо без отбора давать «слово» младшему поколению, то, может быть, можно ограничиться половиной журнала?

Вообще позиция «умывания рук» редакционной коллегией вызывает крайнее удивление.

Это единственный выпуск, который я читал как свой.

«Огонек», «Дружба народов», «Новый мир» — это все не обо мне и не про меня. Здесь — настоящая живая жизнь невыдуманной культуры. Конечно — первый блин комом. Глушить читателя Витгенштейном и Приговым дело весьма заманчивое, если поставлена цель глушить.

По-моему, нас достаточно глушили и «лутили по кумполу» (Достоевский) 70 лет. Из соображений гуманности я бы все же предупредил читателей, что концептуализм — это не совсем то, чем их мучили в школе.

Чувствуется, что сунули в номер все, что под рукой было. Можно и так при накопившемся за 30 лет гниющем богатстве, а можно и по-другому.

Почти все теоретические статьи я бы снабдил одним примечанием читателя: «Избавь! Ученостью меня не обморочишь».

Однако главное: цель достигнута. Пахнуло свободой. Читатель этого не поймет. Пока. Если не будет следующего выпуска. Слепой от рождения ничего не знает о преимуществах цвета. Дайте же возможность читателю поиграть вместе с вами, порадоваться свободе.

Конст. Кедров

Уважаемый Вадим Петрович!

Позвольте прежде всего поблагодарить Вас за «молодежный» выпуск «Даугавы». Надеюсь, что и Вы с интересом прочитаете десятый — «молодежный» — выпуск «Искусства». Он в ближайшее время появится в продаже. Центральное место в нем занимают материалы, так или иначе связанные с проблемой концептуализма.

К. А. Чекалов (журнал «Искусство»)

Восьмой номер «Даугавы» — первый иероглиф в азбуке авангарда — наподобие тех, что расшифрованы Никитаевым. Он мерцает, как хрупкий рисунок, на обложке номера. Смысл его — праздник; он складывается из статей, стихов и прозы — Руднева, Левкина, Хрустальной, Летцева, чьи имена принадлежат к самым ярким в авангарде. Своеобразный стержень номера — статья Шапира, в которой наука и её предмет проникают друг в друга. Алфавит требует продолжения: сказав А, говори Б.

Л. Михаил

Авторы снимков в тексте: Харийс Бурмейстарс, Атис Иевиньш, Юрий Куприянов.

Сдано в набор 31.10.89.
Подписано к печати 01.12.89. ЯТ 00174.
Формат 60×90/16. Книжно-журнальная бумага № 1,
мелованная бумага. Офсетная печать.
Обложка и вклейки — высокая печать.
8,0+0,25+0,25 усл.-печ. л., 13,75 усл. кр.-отт..
10,93 уч.-изд. л. Тираж 100 000.
Заказ № 1908. Цена 45 коп.

Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП,
Баласта дамбис, 3.

Технический редактор

Мудите АРАЯ.

Телефоны: гл. редактор 466049,
зам. гл. редактора 465913,
отв. секретарь 465996,
отд. прозы и критики 465992,
отд. поэзии 465998,
отд. публицистики 465990,
техн. секретарь 465993.

Корректор

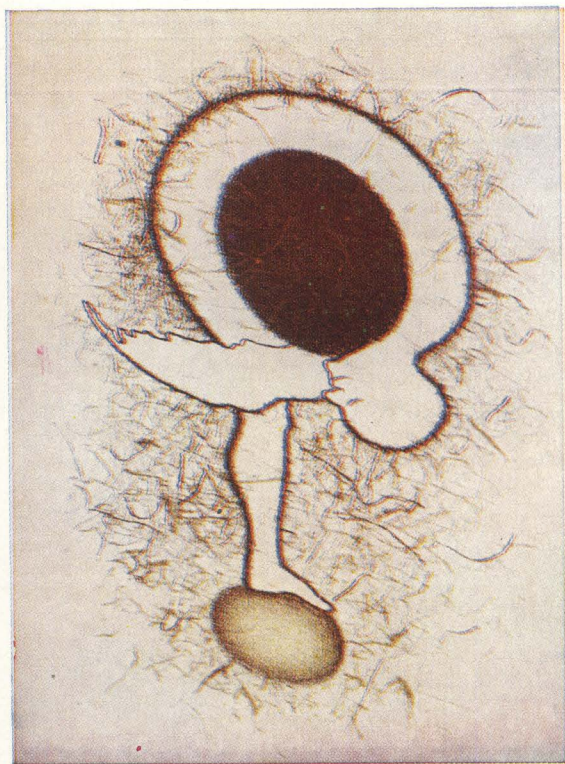
Любовь СОКОЛОВСКАЯ.

Отпечатано в гип. Издательства ЦК КП Латвии,
226081, Рига, Баласта дамбис, 3.



Плакат к Празднику песни
1990 г.

Предчувствие
чувств



Визуальная
интерпретация
эпоса Гесиода
«Теогония»

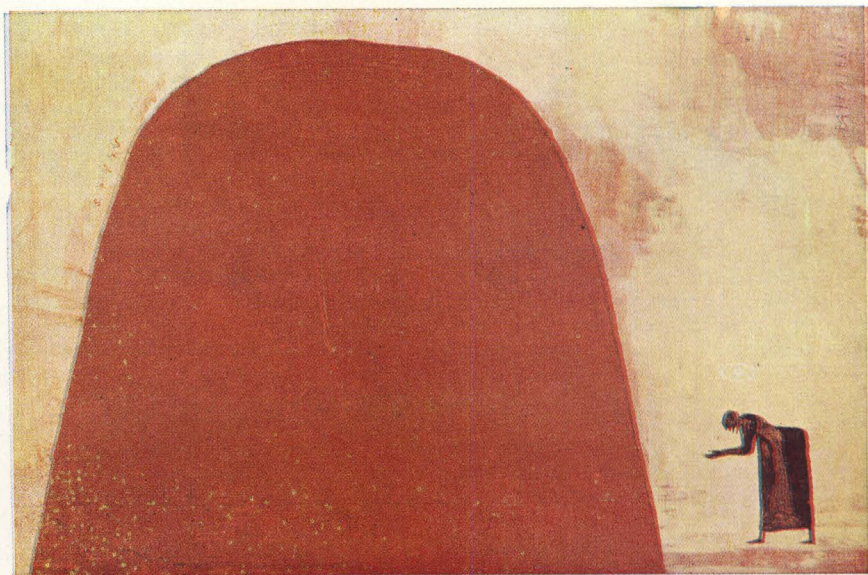
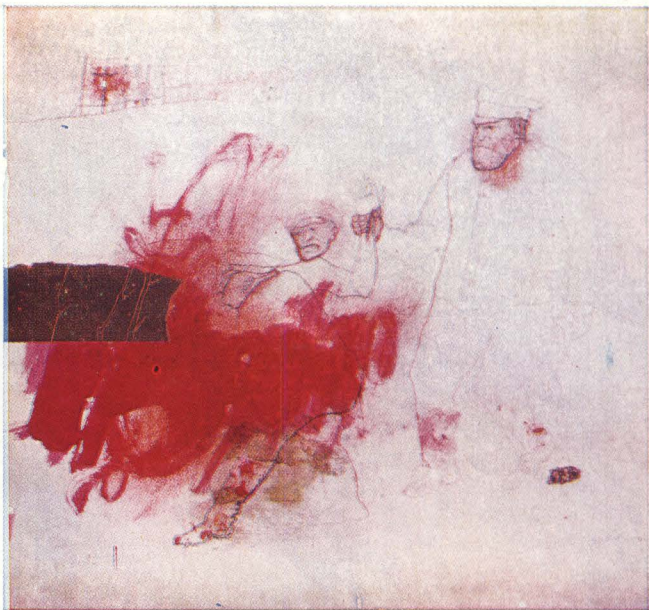
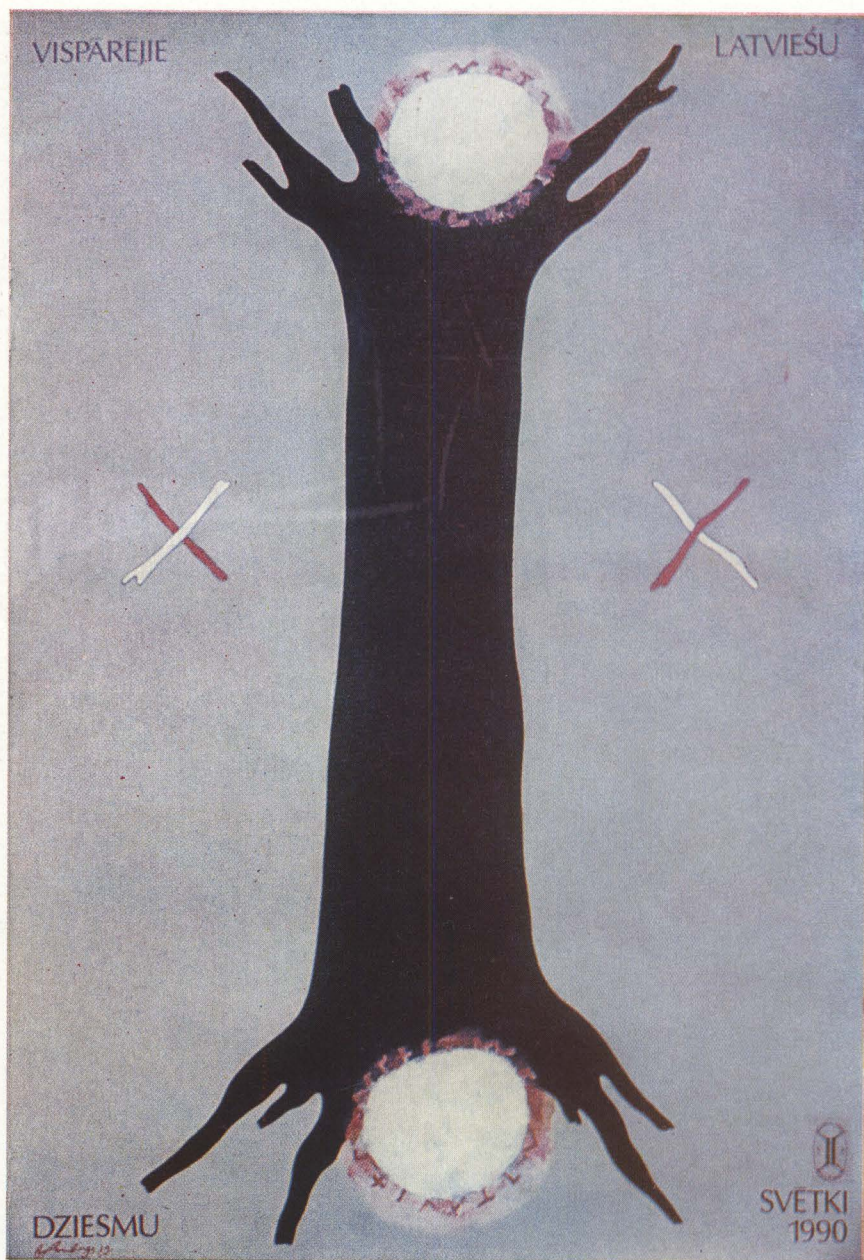


Иллюстрация
к роману
Ч. Айтматова
«Плаха»

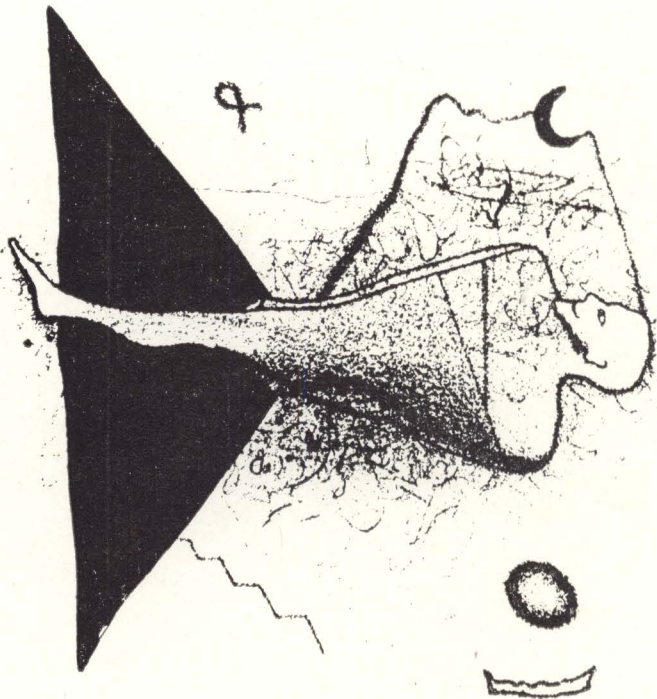


Визуальная
интерпретация
эпоса Гесиода
«Теогония»





Плакат
к Празднику песни
1990 г.
Фото
Атиса Иевиньша



Илмар Блумбергс.
Разговор с небом.
Фото
Атиса Иевиньша

